Стихотворения. Поэмы. Сергей Александрович Есенин

В. Базанов ПОЭЗИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Чем дальше мы уходим от суетной молвы, слишком взвинченных и во многом односторонних суждений о Есенине его друзей и недругов, тем полнее и ярче выступает перед нами огромное дарование поэта, его щедрый и трепетный талант. Время дорисовывает портрет Есенина, бросает новый отсвет на содержание его поэтического наследия.

Есенин (1895–1925) не оставил после себя подробных жизнеописаний, он просто сказал в заметке «О себе»: «Что касается остальных автобиографических сведений, — они в моих стихах». В стихах заключена жизнь поэта, его думы и переживания, радости и сомнения, весь Есенин.

Стихи мои,

Спокойно расскажите

Про жизнь мою.

Сергей Есенин с гордостью называл себя «крестьянским сыном» и «гражданином села». Где бы он ни был, на какую бы вершину славы ни поднимался, он всегда видел крестьянскую Русь, жил ее надеждами. Даже работу над стихами сравнивал с трудом крестьянина-пахаря: «Стихи писать — как землю пахать… Семи потов мало».

Ученические стихи, написанные в Спас-Клепиковской школе, для поэта-мальчика слишком книжные, грустные, рефлективные. Когда поэт пишет о себе, о собственных переживаниях, он подражает Лермонтову, Надсону; когда стихи обращаются непосредственно к бедствую щей деревне, в них слышатся отзвуки поэзии Кольцова, Некрасова, Никитина. Среди «дум» особенно сродни Некрасову стихи о «страдальце сохи с бороной».

…И послушайте песню про горе,

Что поет он, идя за сохой.

Но такие «крестьянские» стихи составляют редкое исключение. Даже не верится, что «Больные думы» (так называется ученическая тетрадь) написаны мальчиком, который вырос в деревенской зыбке. Такой печальный и встревоженный взрослый среди сверстников… «Звуки печали», «Слезы», «Нет сил не петь и не рыдать…», «Скучные песни, грустные звуки…», «Слезы… опять эти горькие слезы…», «Душно мне в этих холодных степях…» — даже названия стихотворений создают впечатление безысходности, щемящей тоски.

Думы печальные, думы глубокие,

Горькие думы, думы тяжелые,

Думы от счастия вечно далекие,

Спутники жизни моей невеселые.

В 1912 году Есенин посвящает стихотворение «Поэт» «горячо любимому другу» Грише Панфилову. Поэт серьезно думает об общественном содержании своей поэзии, дает клятву бороться за «святую правду». «Я буду тверд» — как будто из «Гражданина» Рылеева. Тогда же было написано несохранившееся стихотворение «Пророк». Прекрасным комментарием к этим юношеским стихотворениям являются письма Есенина к М. П. Бальзамовой, опубликованные в 1969 году в журнале «Москва». В письмах многое продиктовано сугубо личными переживаниями, но в них и тот необычный, глубоко обеспокоенный, взбудораженный сомнениями Есенин, который не может примириться с общественными пороками и с окружающей действительностью. Поэт явно не в ладах с черствым, равнодушным обществом. «И скучно, и грустно, и некому руку подать», — пишет он другу. Мятежная и скорбная поэзия Лермонтова обусловила содержание ученических, во многом подражательных стихов Есенина.

Позже Есенин осознал, что его родная стихия — народная поэзия, русская деревня, рязанские дороги и косогоры, поля и леса. В одном из ранних его стихотворений, опубликованных в 1914 году в журнале «Мирок», «белая бахрома» и «сонная тишина» говорят о душевном покое.

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

Патриархальный, замкнутый быт кажется поэту родным и близким.

Первый сборник стихотворений Есенина «Радуница» (1916) был назван в честь весеннего народного обряда, связанного с поминанием умерших. Все тридцать три стихотворения сборника сотканы из красок и звуков самой природы — лирика мягкая, безмятежная, в нее редко вторгается проза народного быта.

В ранних стихах крестьянская Россия, еще не потревоженная грозными событиями, утопает в мягкой тишине, в патриархальности. Поэт находится во власти своеобразного руссоизма, сентиментальных переживаний и религиозных настроений. Правда, у Есенина свой бог, бог «за пазухой», свои верующие, не похожие на церковных старост и прихожан, кладущих поклоны перед алтарем. Народные легенды и духовные стихи были известны поэту с детства. С восьми лет бабка «таскала» его по монастырям. «Микола», «Калики» и другие «духовные» стихотворения берут начало в живой народной старине, книжной и фольклорной. «Религиозная» и пейзажная лирика как бы обрываются, чтобы затем слиться в одном потоке, вернуться в поэзию Есенина вместе с нахлынувшими вестями, с народными песнями и плачами военного времени. Еще слышатся залихватские, хмельные песни, но они омрачены надвигающимися грозными событиями («По селу тропинкой кривенькой…»).

Деревня поет и пляшет и тут же одевается в траур, оплакивает бравых парней, которые догуливают последние деньки. Среди записанных Есениным рязанских частушек есть и рекрутские: Погуляйте, ратнички,

Вам последни празднички,

Лошади запряжены,

Сундуки улажены[1]

Стихотворение «Русь», вошедшее во второе издание «Радуницы», — одно из самых драматических и самых социальных произведений Есенина 1914 года. В нем показан антинародный характер империалистической войны.

Русская деревня погружается в «сумерки мглистые»; зловещее карканье черных воронов (неизменная деталь рекрутских песен) вливается в оркестровку стиха.

Повестили под окнами сотские

Ополченцам идти на войну.

Загыгыкали бабы слободские,

Плач прорезал кругом тишину.

Жалкие, бедные деревенские избенки, седые матери, незатейливая домашняя утварь, орудия крестьянского труда, даже берестяные лапти — все согрето большой и светлой любовью поэта. Нужно было вместе с «мирными пахарями» и плачущими матерями пережить и перечувствовать семейные утраты, испытать всю тяжесть невзгод, чтобы собрать в одну художественную композицию такое множество народных примет, обрядовых деталей, психологических подробностей, так верно изобразить русскую деревню в тяжелые годы империалистической войны.

Путь Есенина в большую поэзию не был прямым и легким.

В 1915 году поэт едет в Петербург. Прежде всего ему нужно было разобраться в сложной литературной среде, не сбиться с избранного пути, не стать жертвой нездоровой сенсации, выстоять, не оказаться в плену у декадентов. В литературных салонах не знали, чему больше удивляться, — то ли певучим стихам, то ли внешнему облику самого поэта. Голубые глаза и крестьянское платье удивительно соответствовали самобытному миру его лирики. Символисты тогда уже сходили со сцены. Появление талантливого поэта из народа они хотели использовать для укрепления своих пошатнувшихся позиций. Попади Есенин под влияние Мережковского и Зинаиды Гиппиус, его

буйному таланту пришел бы скоро конец. К счастью, Есенин и сам понимал, что ему нечего делать в гостиных, где господствовали литературные снобы и сибариты.

Есенин облюбовал одного Блока, к нему пошел за советом. Блок увидел в Есенине крестьянского поэта-самородка. Но в то время поэт уже не был наивным молодым крестьянином, далеким от общественных интересов. Есенин приехал в Петербург не прямо из рязанской деревни. Он два года (1912–1914) провел в Москве, работал в типографии Сытина, слушал лекции в университете Шанявского. Дружба с рабочими типографии безусловно сказалась на мировоззрении Есенина, на его идейном развитии.

Возникновению легенды о «парне в рубахе», поэте-гармонисте способствовал сам Есенин, подчеркивавший свое деревенское происхождение. В Петербурге он продолжал носить крестьянскую одежду, при встречах с друзьями напевал народные частушки под гармошку.

История русского общественного движения знает разного рода переодевания. Первыми стали рядиться в крестьянское платье славянофилы (европейски образованный К. Аксаков и др.). Разумеется, это не имело ничего общего с истинным народолюбием. Революционные народники, участники массового «хождения в народ», одевались в крестьянское платье, чтобы легче найти доступ к уму и сердцу русского мужика. Лев Толстой ушел из дворянской усадьбы в крестьянской домотканой рубахе.

Едва ли только ради сенсации, чтобы прослыть оригинальным, Есенин так крепко держался за смазные сапоги. Было время, когда он скитался по ночлежкам, был в положении бедного разночинца с медным пятаком в кармане. Среди частушек, записанных Есениным, есть и такая: Наши дома работа?ют,

А мы в Питере живем.

Дома денег ожидают,

Мы в опорочках придем.

Кроме того, Есенину казалось, что своим стилизованным костюмом он подчеркивает значение крестьянства в общественном и литературном движении. Но история с переодеванием чересчур затянулась. Он и после 1917 года не прочь поиграть в мужика.

Маяковский рассказывает о встрече с Есениным:

«Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более, что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему… в исконной, посконной…

…Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!»[2]

Маяковский в желтой кофте и Есенин в рубашке, вышитой крестиком, — явления в чем-то схожие. В обоих случаях бутафория — пощечина господствующему вкусу.

Октябрьская революция была воспринята Есениным как стихийный «вихрь», сметающий прогнивший «старый мир». То, что было совершенно ясно Маяковскому и Демьяну Бедному, для Есенина оказалось чрезвычайно сложным и запутанным.

Социализм мыслился Есениным как «мужицкий рай», где «нет податей за пашни», где все живут вольготно и весело, отдыхают «блаженно», «мудро» и «хороводно». Рядом с памятником Марксу от русского пролетариата Есенин хочет видеть памятник корове, как остроумно заметил Маяковский. — «Не молоконосной корове… а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз»[3].

В поэме «Инония», нарочито витийственной, поэт «вещает»:

По-иному над нашею выгибью

Вспух незримой коровой бог.

Торжественная, почти библейская фразеология («Время мое приспело… Тело, Христово тело») перемежается с явным просторечием. В эпически спокойную речь врывается «лязг кнута», и даже более залихватские метафоры, — совсем не в духе «священной» поэзии.

Есенин и сам понимал, что в религиозную символику с трудом укладываются современные события народной жизни.

В автобиографии «Нечто о себе» он писал: «Не будь революции, я, может быть, так бы и засох на никому не нужной религиозной символике, развернулся талантом не в ту сторону».

Однако увлечение Есенина библейскими образами и «священной» фразеологией нельзя считать только заблуждением, консерватизмом или просто данью моде. Обращение к церковным книгам и к народным духовным стихам было связано с творческими поисками Есенина, его экспериментаторством в поэтике — желанием выйти за пределы устоявшихся образов и сравнений, сделать стих более упругим и эмоционально взбудораженным. Ю. Н. Либединский недоумевал, читая стихотворение «Осень»: Схимник-ветер шагом осторожным

Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту

Язвы красные незримому Христу.

Странным казалось «переплетение в одной стихотворной строке кощунства и религиозности, душевной чистоты и грубо-похабных, словно назло кому-то сказанных слов»[4].

Некоторые стихотворения Есенина действительно написаны как будто «назло», против слишком легкой поэзии; они держатся также особняком и от народных духовных стихов и не имеют ничего общего с убаюкивающей, молитвенной поэзией Клюева. Есенин «вталкивает в поэтическую речь слова всех оттенков», полагая, что «нечистых» слов вообще нет, а «есть только нечистые представления». Развертывая свою мысль, он говорит в предисловии к берлинскому изданию «Стихов скандалиста» (1923): «Слова — это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй, как новобранцев. Сегодня они неуклюжи, а завтра будут в речевом строю такими же, как и вся армия». Так Есенин писал за несколько лет до знаменитой поэмы Маяковского «Во весь голос», где стихи сравниваются с «фронтом», а сама поэзия — с полководческим искусством. У истоков этого олицетворения, полного глубочайшего смысла, стоит великий Пушкин: Как весело стихи свои вести

Под цифрами, в порядке, строй за строем,

Не позволять им в сторону брести.

Как войску, в пух рассыпанному боем!

Тут каждый слог замечен и в чести,

Тут каждый стих глядит себе героем.

А стихотворец… с кем же равен он?

Он Тамерлан иль сам Наполеон.

Поиски слова значительного, яркого, способного передавать тончайшие человеческие переживания и сложную гамму красок и звуков, свойственную самой природе, стремление преодолеть инерцию стиха, сделать его более «полководческим», ведущим за собой стихию слов и метафор, привели Есенина к имажинистам — модному, но бесплодному направлению в русской поэзии. «Быт имажинизма нужен был Есенину, — утверждает Сергей Городецкий, — больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддевки с гармошкой… цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу»[5].

Переодевание в костюм европейского денди нам кажется еще более театрализованным представлением, нежели «поддевка с гармошкой» — фрак с чужого плеча. В конечном итоге Есенин не делает различия между цилиндром и лукошком. Он и в «Стойло Пегаса» въезжает на рязанской кобыле, которую готов кормить из своего цилиндра: В нем удобней, грусть свою уменьшив,

Золото овса давать кобыле.

Имажинизм — временное увлечение Есенина, несвойственное его широкой поэтической натуре. «Стойло Пегаса», по словам Д. Фурманова, «являлось в сущности стойлом буржуазных сынков»[6]. В кафе на Тверской процветали самые вульгарные формы богемы.

Есенин очутился в стане имажинистов, так как ему казалось, что в «Стойле Пегаса» борются за новое искусство, освобожденное от ветхих эстетических норм и правил. Он подписывал имажинистские манифесты, увлекался стилистическими экспериментами, делал «головокружительные» прыжки, как бы соревнуясь с Мариенгофом и Кусиковым. Но и тут, в словесном турнире, Есенин не терял связей с народной почвой, не уступал своих позиций. В дальнейшем он поймет, что имажинисты слишком камерные поэты, что созданы они для литературного салона, для богемы. Добывать мировую славу, отказавшись от большой и постоянной любви к русскому крестьянину, Есенин не собирался. В программном стихотворении «Сорокоуст» нет и намека на уход из деревни. Наоборот, Есенин не мыслит свою поэзию без народной жизни, он «болен воспоминаниями детства».

У Есенина постоянная и глубокая любовь к фольклору, к народной поэзии. С помощью фольклора он преодолевает эстетику имажинизма, противостоит ей, утверждает свою народность. Есенину не надо было изучать фольклор по сборникам, черпать его из вторых рук, он сам был прекрасным знатоком народной словесности, сам создавал песни и частушки в фольклорном стиле и был талантливым их исполнителем. В. С. Чернявский, например, сообщает: «Покончив со стихами, Сергей принялся за частушки; говорил с гордостью, что их у него собрано до четырех тысяч и что Городецкий непременно обещал устроить их в печать; многие частушки были уже на рекрутские темы; были тут и «страдания» (двустишия), довольно однообразные, но очень любимые и защищаемые самим Сергеем; он жалел только, что нет тальянки»[7]. И. И. Старцев тоже говорит об интересе Есенина к народной поэзии: «Пел мастерски, с особыми интонациями и переходами, округляя наиболее выразительные места жестами, хватаясь за голову или разводя руками. Народных частушек и частушек собственного сочинения пел он бесконечное множество. Пел их не переставая, часами…»[8]

Одну из первых своих книг Есенин собирался назвать «Рязанские побаски, канавушки и страдания». Особенно большой интерес поэт проявил к народным частушкам. «Стихи начал писать, подражая частушкам» — свидетельство самого Есенина. Сто семь частушек в записи Есенина увидели свет в 1918 году на страницах московской газеты «Голос трудового крестьянства».

Столь же глубокой и постоянной была любовь Есенина к народной лирической песне. «К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их», — вспоминал поэт. Очень жаль, что многие фольклорные записи Есенина не сохранились.

Подчеркнутое внимание Есенина к словесному орнаменту, к метафоризму в сочетании со зримой конкретностью, объясняется самой природой народного художественного творчества и субъективной культурой поэта. «В поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки», — говорил Есенин, объясняя, что в фольклорной эстетике заложены те самые принципы поэтического стиля, которые он проповедует и развивает[9].

В отличие от Клюева, застывшего, глядящего только назад, Есенин всегда в поисках, в дороге, на крутых поворотах истории, с тяжелой ношей реальных противоречий. Приходится удивляться не тому, что Есенин ошибался, утрачивал чувство истории, впадал в неонародничество, — это вполне естественные «издержки» молодости, характера, деревенской биографии. Скорее заслуживает внимания постоянное и вдумчивое отношение «деревенского парня» (Горький называл его и «мягким парнем») к основным проблемам народной этики и эстетики, к судьбам деревни, социальным и нравственным.

Для Есенина деревня — большая общенациональная тема, тема патриотическая и глубоко личная. Какой-то особенной грустью отмечены стихи о поэте, покидающем родные поля. «Я последний поэт деревни…» и «Не жалею, не зову, не плачу…» — печальные элегии. Как будто поэт навсегда уходит из жизни. Березы, видевшие столько радостных встреч, печально «кадят» листвой, с кленов «тихо льется… медь». Увяданию природы вторит монотонный стук деревянных часов: И луны часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый час.

Лирика Есенина, солнечная, мягкая, очень добрая, становится невеселой, даже угрюмой.

Пройдя через многие тяжелые испытания, поэзия Есенина оживает, сбрасывает с себя уныние, набирает разбег, веру в новую жизнь. Поэт особенно доверчив, откровенен в своей любовной лирике; мужественная и правдивая, она — дневник его душевных переживаний. Поэт испытывает огромное желание расстаться с «дурной славой», навсегда покинуть «непутевую жизнь». Но ему не хватает воли.

Я б навеки забыл кабаки

И стихи бы писать забросил,

Только б тонко касаться руки

И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой

Хоть в свои, хоть в чужие дали…

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.

Есенин постоянно думает о долге перед родиной, об ответственности перед народом. И это роднит его с Некрасовым. У обоих поэтов — обостренное чувство собственной вины перед народом. Некрасов как бы предсказывает молчаливые раздумья, душевные переживания, «жгучее святое беспокойство» есенинской лирики.

В есенинском цикле «Возвращение на родину» и поэме «Анна Снегина» явно ощутимы мотивы некрасовского стихотворения «Дома — лучше».

Под солнцем осенним родная картина

Отвыкшему глазу нова…

О матушка Русь! ты приветствуешь сына

Так нежно, что кругом идет голова! —

писал Некрасов.

Есенин покидает «Стойло Пегаса», возвращается в родные края, возвращается, чтобы воспеть деревню, снова сродниться с ней. Через десять лет после знаменитого стихотворения «Русь» (1914) создается своеобразная трилогия: «Возвращение на родину», «Русь советская» и «Русь бесприютная», объединенная в 1925 году в программном для автора сборнике «Русь советская». Изменился сам поэт, но еще больше изменилась деревня («Как много изменилось там…»). Трудно поэту сразу осмыслить и понять те социальные процессы, которые затронули крестьянскую жизнь, народный быт. Колокольня без креста, иконы выброшены с полок, дед украдкой ходит в лес молиться осинам. Ломается старинный уклад. Беседа поэта с дедом — «печальная беседа». Но есть молодое поколение.

На стенке календарный Ленин.

Здесь жизнь сестер,

Сестер, а не моя, —

Но все ж готов упасть я на колени,

Увидев вас, любимые края.

«Возвращение на родину» — возвращение к большой и сложной теме. Драматизм переживаний не только не исчезает, но и приобретает форму горестных размышлений. Пытаясь разобраться в нахлынувших чувствах, поэт не спешит объявить себя певцом обновленной земли. Нужно еще доказать, что он «с народом дружен»: Какого ж я рожна

Орал в стихах, что я с народом дружен?

Моя поэзия здесь больше не нужна,

Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Постепенно деревенская лирика согревается каким-то особенным внутренним теплом, нежностью, воспоминаниями и надеждами. «Я очень люблю родину!» — не риторическое восклицание. Стихи освобождаются от утомительной рефлексии и вычурной нарядности, к ним возвращаются ясность и простота. Снова природа щедро, пригоршнями бросает в поэзию Есенина краски и образы. Поэт рядом с ней, он вхож во все ее тайники.

Как будто бы на корточки погреться

Присел наш клен перед костром зари.

Эмоциональная сила есенинской лирики не в повествовательном сюжете, даже не в зрительных и слуховых образах. Поэт всегда в окружении близких людей, он их односельчанин и собеседник. Но не было у Есенина ближе человека, нежели его мать. Ей посвящены стихи, потрясающие по своей эмоциональной взволнованности.

Как прежде, ходя на пригорок,

Костыль свой сжимая в руке,

Ты смотришь на лунный опорок,

Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,

С тревогой и грустью большой,

Что сын твой по отчему краю

Совсем не болеет душой.

В письмах к матери, к деду и к сестрам все высказано без утаек, недомолвок, поэт отчитывается за прожитую жизнь и делится планами на будущее. За рязанской деревней, приютившейся на берегу Оки, за одряхлевшей старушкой, ожидающей сына, — вся Россия, Россия народная. С ней поэт держит совет, к ней обращается за помощью. К тому же и сама деревня нуждается в поддержке, в добром слове.

Есенин умеет разговаривать с крестьянами, как равный с равными, внимательно слушает, «о чем крестьянская судачит оголь», создает особый жанр дружеской переписки. Пишет мать поэта, как и многие тысячи матерей, о своей большой любви к сыну. Нежная, любящая мать, со всеми ее домашними радостями и скорбями, и она же нравственный наставник. Муза Есенина всегда была связана с заботами и хлопотами о деревне. Поэта интересуют все подробности: Как живет теперь наша корова,

Грусть осеннюю теребя?

Отгорела ли наша рябина,

Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?

В стихотворных «посланиях» Есенин искусно переплавляет бытовой, казалось бы, сугубо прозаический материал, превращая его в достояние лирической поэзии, создавая особую атмосферу интимности, задушевности.

Ю. Н. Тынянов заметил: «Читатель относится к его стихам как к документам, как к письму, полученному по почте от Есенина»[10].

Легко представить себе Есенина среди крестьян, присевшего на завалинку, чтобы вести спокойную беседу. Но вот мы видим поэта если не на трибуне, то за очень ответственным праздничным столом. Стихотворение «1 Мая» (1925) — застольный гимн в честь

революционного праздника и тех, кто особенно заслуживает похвального слова. Есенин обращается к трудному для него жанру, к политической лирике. В свое время он написал «Стансы», но стихотворение было недружелюбно встречено в литературных кругах. В первомайских стихах поэт отстаивает свое право писать гражданские стихи. У Есенина и раньше не было нейтральных стихотворений, даже пейзажная лирика пронизана патриотическими мотивами.

Первомайские призывы и лозунги переплавляются в тосты: «За здоровье нефти и за гостей», «За Совнарком», «За рабочих под чью-то речь». Но прежде чем пить «четвертый лишь за себя», Есенин не под «чью-то речь», а по велению сердца предлагает тост за крестьянство: За то, чтоб не сгибалась в хрипе

Судьба крестьян.

Так в первомайские стихи 1925 года возвращается нескончаемая крестьянская тема («судьба крестьян»), возвращается в окружении злободневных политических лозунгов. Поэт приравнивает крестьянский вопрос к другим важнейшим политическим проблемам, просит не забывать о нем в дни самые торжественные, за праздничным столом, когда первый бокал поднимается за международный пролетариат и за Совнарком.

Великие русские поэты часто совершали поэтические путешествия на Запад и на Восток, создавали стихи «античные», «восточные», «западнославянские». Проблема национального своеобразия в русской классической поэзии понималась широко, как проблема соседства и взаимодействия разных национальных культур. Есенину тоже довелось совершить воображаемое путешествие в Персию. Поездки в Среднюю Азию, в Баку и на Кавказ не прошли даром. Поэт своими глазами увидел пышную южную природу и самобытные народные нравы, он там нашел великолепие красок и богатство человеческих переживаний. Есенин не только учился у Саади, но и сам многое угадал, почувствовал и сумел как бы перенестись в голубую Персию, создать изумительный по музыкальности и живости описаний цикл стихотворений «Персидские мотивы». Но и тут постоянно ощущается Россия, слышны голоса народных песен. Пери напоминают рязанских девушек. В стихотворении «Никогда я не был на Босфоре…» самобытный Восток и столь же самобытная русская деревня — в одной поэтической строке, рядом в сознании и в чувствах поэта, хотя и разделены большими расстояниями.

Кажется, ничто теперь не омрачало жизнь поэта. Пребывание в Баку, беседа с С. М. Кировым, прилив творческих сил, напряженная работа над новыми стихами. Поэт снова готовится к серьезной встрече с жизнью: Пора приняться

Мне за дело,

Чтоб озорливая душа

Уже по-зрелому запела.

И пусть иная жизнь села

Меня наполнит

Новой силой.

Есенин пробует силы свои в разных поэтических жанрах, стремится создать стихи большого политического содержания, обращается к историко-революционной теме. Такова замечательная «Баллада о двадцати шести», о расстрелянных бакинских комиссарах. В январе 1925 года была закончена поэма «Анна Снегина». О революции и гражданской войне поэт рассказывает словами самого народа, со знанием крестьянской психологии, социальных проблем, классовых противоречий. Село Радово и деревня Криуши — частица необъятной России. Здесь происходят события всероссийского значения. Поэт уловил самое существенное в крестьянских разговорах: толкуют о «новых законах», о ленинском декрете, объявлявшем крестьян хозяевами натруженной земли. Теперь Есенин не чувствует себя одиноким, наоборот, в шумной толпе он свой человек. С ним беседуют, как со старым знакомым, и ждут от него ответа на волнующие вопросы.

Ты — свойский, мужицкий, наш,

Бахвалишься славой не очень

И сердце свое не продашь.

Это самая высшая похвала поэту. Есенин на этот раз пошел в народ вполне подготовленным, на все крестьянские вопросы он отвечает уверенно и с большим политическим тактом. Когда крестьяне спросили о Ленине, он ответил в двух словах.

«Скажи,

Кто такое Ленин?»

Я тихо ответил:

«Он — вы».

Есенин один из первых в советской поэзии показал крестьянина, учреждавшего советскую власть на селе. Два брата Оглоблиных — два человеческих характера, выхваченных из гущи народной жизни. Поэма «Анна Снегина» не случайно возвращает нас к самым радужным переживаниям, к лирике, возмужавшей, обогащенной новыми впечатлениями. Путешествие в деревню завершается радостными, раздольными стихами, прославляющими неувядающую молодость и широкие деревенские просторы. Есенин как будто собрал в заключительной части поэмы все прежние образы и мотивы, объединил их, довел до художественного синтеза, еще раз напомнил о тех неисчерпаемых богатствах, которые скрыты в русской деревне.

Три крупнейших поэта эпохи — Маяковский, Блок и Есенин — оказались в конечном итоге в одном строю, вместе работали в советской поэзии. Трудно, просто невозможно было состязаться с Маяковским, уверенно шагавшим по центральным проспектам истории, состязаться в поэзии громкой, публицистической, в поэзии высокого поэтического и гражданского напряжения. Из поэтов старшего поколения более других важен был для Есенина именно Александр Блок. Соединение глубокого лиризма с гражданской тревогой, порой трагическая душевная разорванность, упорные размышления над судьбой России, сердечная связь с русским историческим прошлым, связь и грустная и радостная, — все это сближало обоих поэтов. Есенин культивировал блоковские «дольники», предоставляя им еще большую метрическую вольность. Отличала Есенина от Блока большая эмоциональная порывистость, какая-то особая непосредственность, отсутствие всякой дистанции между поэтом и его лирическими героями. В лирике Есенин удивительно естествен, как будто он беседует наедине, рассказывает о самом сокровенном, без всяких условностей, не думая о внешних эффектах, не сгущая красок. В самых драматических стихах, посвященных незавершенной или разбившейся любви, поэт принимает вину на себя, облагораживает переживания, оставляет самые теплые, хотя и омраченные невзгодами воспоминания.

Так мало пройдено дорог,

Так много сделано ошибок.

Есенин позволял себе вольности против принятых в литературной среде эстетических идеалов, порой довольно дерзкие выходки. Но и в этой словесной и эмоциональной дерзости он не выходил за пределы лиризма и нравственного самоочищения. Только в «Москве кабацкой» его стихи срываются на «жестокий» романс, иногда начинают звучать слишком надрывно.

Лирика Есенина, щедрая, доверительная, доброй своей частью обращена к природе, к ее бесценным дарам. Нужно было обладать тонкой наблюдательностью, чтобы даже частное и на первый взгляд неяркое явление превратить в пышную картину русской зимы.

Стихотворение «Пороша» начинается с описания зимней дороги:

Еду. Тихо. Слышны звоны

Под копытом на снегу,

Только серые вороны

Расшумелись на лугу.

Это не обычный «ямщицкий» романс. В нем отсутствуют и ямщик и седок, их заменяет сам поэт. Поездка не вызывает у него никаких далеких или близких ассоциаций, он обходится без обычной дорожной грусти. Все исключительно просто, как будто списано с натуры:
Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна,

Словно белою косынкой

Подвязалася сосна.

Понагнулась, как старушка,

Оперлася на клюку,

А над самою макушкой

Долбит дятел на суку.

Каждый поэт входит в храм природы со своей «молитвой» и со своей палитрой. Из поэтов-символистов особенно Бальмонт любил

слагать гимны природе. Но у него солнце редко согревает землю, ему чужды простые человеческие радости. Слишком громко и резонерски прославляет этот поэт мироздание, четыре его стихии — Огонь, Воду, Землю и Воздух. Он весь в потустороннем мире: «Я жалею, что жил на Земле»[11].

Есенин пришел в поэзию, чтобы разрушить космизм декадентов, воспеть родную природу, пришел как рачительный хозяин и друг. Для Есенина русская природа — источник всего прекрасного. Эту чистую любовь он пронес через всю жизнь, через всю поэзию.

Поэт любит все живое. В «Сорокоусте» содержится целая декларация в защиту животных. Даже «испачканные морды свиней» удостаиваются «изящной поэзии». Подобные декларации во множестве рассыпаны в стихах.

Каждая задрипанная лошадь

Головой кивает мне навстречу.

Для зверей приятель я хороший,

Каждый стих мой душу зверя лечит.

Л. Никулин в заметке «Памяти Есенина» пишет: «Сколько доброты в иных стихах Есенина! Кто еще может так, как он, писать о животных…» Есенин обладал исключительным чувством понимания внутреннего мира животных. А. Гатов вспоминает разговор о бегах. «Есенин нахмурился и процедил: «Не люблю бегов. Бегут две, три, четыре лошади… Скучно! То ли дело — табун бежит». Это было сказано просто, без рисовки»[12].

Любовь ко «всякому зверью» не могла заслонить в поэзии Есенина деревенских мужиков и баб. Мы не только видим луг, сотканный из полевых цветов, залитый красками, но и слышим, как «шепчут грабли» и «свистят косы». И сам стих спешит за трудовым ритмом, торопится, чтобы уверенно выводить «травяные строчки»: К черту я снимаю свой костюм английский,

Что же, дайте косу, я вам покажу,—

Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,

Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.

Хорошо косою в утренний туман

Выводить по долам травяные строчки,

Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках песня, в этих строчках слово.

Потому и рад я в думах ни о ком,

Что читать их может каждая корова,

Отдавая плату теплым молоком.

Поэт по-мужицки практичен, он видит в природе богатства, которые ждут человеческих рук.

Даже небесные светила поэт приглашает на землю. Сотни раз воспетая луна бросает свой отсвет на дремлющий крестьянский мир, на сельскую природу, одухотворяя ее, пробуждая, наполняя новыми красками. Месяц роняет «желтые поводья» или бросает «весла по озерам»; луна, как «коврига хлеба», надломилась над небесными сводами.

За темной прядью перелесиц,

В неколебимой синеве,

Ягненочек кудрявый — месяц

Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой

Бодаются его рога, —

И кажется с тропы далекой —

Вода качает берега.

Схожий с жеребенком месяц, тоже рыжий, «запрягается» в сани.

В поэме «Пугачев» луна, «как желтый медведь, в мокрой траве ворочается». Даже этот вычурный образ имеет свою народно-поэтическую основу. Пугачев разъясняет происхождение столь неожиданной метафоры: Знаешь ли ты, что осенью медвежонок

Смотрит на луну,

Как на вьющийся в ветре лист?

По луне его учит мать

Мудрости своей звериной,

Чтобы смог он, дурашливый, знать

И призванье свое и имя.

Для простого крестьянского мальчика луна всего лишь «коврига хлеба», для Пугачева, размышляющего о своем предназначении, о предстоящей борьбе, луна-медведь имеет магическое значение.

Происходит постоянное обновление поэтики, один и тот же образ (например, луна) обрастает множеством значений, приобретает все новые и новые художественные функции. Ступенчатое развитие образа — одна из особенностей поэтической системы Есенина. Другая особенность — умение поэта переселять своего лирического героя в природу, которая становится как бы эстетической собственностью самого поэта.

Под луной, теперь уже зловещей, проходят самые трудные, мучительные дни «Москвы кабацкой». Это сложный по своему художественному и идейному составу стихотворный цикл. «Кабацкие» стихи писали и до Есенина, на пороге кабака побывали Пушкин («Да пьяный топот трепака // Перед порогом кабака»), Лермонтов («Смотреть до полночи готов // На пляску с топаньем и свистом // Под говор пьяных мужиков»), Блок («Буду слушать голос Руси пьяной, // Отдыхать под крышей кабака»). Известный ученый-этнограф И. Г. Прыжов считал, что для русского интеллигента и крестьянина кабак в XIX веке был своеобразным клубом, куда заходили с большого горя. В кабаке начинались, по словам Прыжова, «всевозможные бунты и волнения с Разина и до 19 февраля 1861 года», и здесь же можно было увидеть самые «ужасные сцены» («дьявольское, темное, нечистое»[13]).

Ночные лунные пейзажи в «Москве кабацкой» подчеркивают неблагополучие, ужас бездорожья, создают впечатление близкой трагической развязки. Остается «узда лучей», но она наброшена на «лошадиную морду месяца», в ней есть что-то зловещее, похожее на петлю. Луна освещает дорогу в кабак: А когда ночью светит месяц,

Когда светит… черт знает как!

Я иду, головою свесясь,

Переулком в знакомый кабак.

Такой же неуютный, холодный месяц появляется и умирает в «Черном человеке» в кошмарную, бессонную ночь, предвещая гибель поэта. Только «Персидские мотивы» озарены светом прежней лучистой есенинской луны. Но такая добрая луна в поэзии Есенина встречается все реже и реже.

В стихах Есенина — вся жизнь, со всеми ее поворотами, ухабами и взлетами. Чистая, ничем не замутненная лирика вдруг оказывается в кабацком дыму, в истерике пьяного угара. В «Москве кабацкой» есть немало прекрасных, искренних, выстраданных стихов, озорных и нежных. Но в этой же «кабацкой» лирике — больной, мрачный Есенин. Ему так и не удалось выпрямиться, освободиться от злого недуга, от сомнительных знакомств, от друзей-недругов, преодолеть свое безволие. «Забубенная голова» и «горькая отрава» не из фольклора, не из удалых народных песен — это плач поэта по себе и проклятие темным силам, которые привели в кабак, загрязнили чистые родниковые воды поэзии.

Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.

В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Не в деревне, не в крестьянской избе, а в «Стойле Пегаса» была искалечена душа поэта.

В последний год жизни Есенин закончил работу над поэмой «Черный человек». Стих этой поэмы мужествен и энергичен, он зовет на помощь, борется со страшным привидением. Освободиться от преследований гнусавого «черного человека» Есенину так и не удалось, хотя он много сделал, чтобы выйти из поединка победителем. Из строфы в строфу нарастает драматизм переживаний.

Где-то плачет

Ночная зловещая птица,

Деревянные всадники

Сеют копытливый стук.

Вот опять этот черный

На кресло мое садится,

Приподняв свой цилиндр

И откинув небрежно сюртук.

«Прескверный гость» пришел к поэту, чтобы бередить душевные раны, внушать «тоску и страх». Биографы Есенина еще долго будут разгадывать истинную природу таинственного незнакомца. Конечно, это кошмарное привидение не просто галлюцинация, не бред больного воображения. Как над «усопшим монах», читает «мерзкую книгу» Есенину ночной гость, его вчерашний «друг», способный на самое жестокое и лицемерное.

Наивно думать, что в «черном человеке» Есенин изобразил себя, нарисовал свой отрицательный портрет. Все, что хотел сказать Есенин, он сказал в своей лирике и в письмах к друзьям. «Черный человек» — не двойник поэта, а его недруг, злой и коварный. «Мерзкая книга» состоит из сенсаций, непроверенных слухов, оскорбительных подозрений и прямых наветов. Если собрать воедино, что говорит «черный человек», то получится обвинительное заключение, составленное опытным интриганом.

Поэма «Черный человек» написана под впечатлением пережитого, в минуты сильного эмоционального экстаза. Но это не исповедь грешника, не саморазоблачение, а защитительная речь, своеобразное опровержение «мерзкой книги», по которой нельзя судить о поэте, если даже он заблуждался. Поэма слишком автобиографична, чтобы превращать ее в отвлеченное нравоучение, в обличение людских пороков, в ней слышится бунт против тех, кто преследует поэта.

Есенин покончил с собой, когда ему исполнилось всего тридцать лет. Ушел из жизни, по словам Горького, «своеобразно талантливый и законченно русский поэт».

Короткий творческий путь Есенина не был прямым и легким. Но и тогда, когда Есенин ошибался, делая неверные шаги, он оставался истинным поэтом, безгранично влюбленным в свое отечество, озабоченным, взволнованным его судьбой. Душевная чистота и искренность никогда не оставляли поэта. На всем пути его горела одна заветная звезда: Родина! Возмужавшая поэзия Есенина — поэзия огромного общечеловеческого и философского смысла. Поэт по преимуществу лирический, он в самых личных, интимных стихах оставался патриотом и гражданином. «Крестьянский сын» стал великим русским поэтом, всемирно известным. Огромное дарование, щедрый и светлый талант его давно уже получили признание и любовь советского народа.

В. Базанов

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Вот уж вечер. Роса…»

Вот уж вечер. Роса

Блестит на крапиве.

Я стою у дороги,

Прислонившись к иве.

От луны свет большой

Прямо на нашу крышу.

Где-то песнь соловья

Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,

Как зимой у печки.

И березы стоят,

Как большие свечки.

И вдали за рекой,

Видно, за опушкой,

Сонный сторож стучит

Мертвой колотушкой.

1910

«Там, где капустные грядки…»

Там, где капустные грядки

Красной водой поливает восход,

Клененочек маленький матке

Зеленое вымя сосет.

1910

«Поет зима — аукает…»

Поет зима — аукает,

Мохнатый лес баюкает

Стозвоном сосняка.

Кругом с тоской глубокою

Плывут в страну далекую

Седые облака.

А по двору метелица

Ковром шелковым стелется,

Но больно холодна.

Воробышки игривые,

Как детки сиротливые,

Прижались у окна.

Озябли пташки малые,

Голодные, усталые,

И жмутся поплотней.

А вьюга с ревом бешеным

Стучит по ставням свешенным

И злится все сильней.

И дремлют пташки нежные

Под эти вихри снежные

У мерзлого окна.

И снится им прекрасная,

В улыбках солнца ясная

Красавица весна.

1910

Подражанье песне

Ты поила коня из горстей в поводу,

Отражаясь, березы ломались в пруду.

Я смотрел из окошка на синий платок,

Кудри черные змейно трепал ветерок.

Мне хотелось в мерцании пенистых струй

С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.

Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,

Унеслася ты вскачь, удилами звеня.

В пряже солнечных дней время выткало нить…

Мимо окон тебя понесли хоронить.

И под плач панихид, под кадильный канон,

Все мне чудился тихий раскованный звон.

1910

«Выткался на озере алый свет зари…»

Выткался на озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

Только мне не плачется — на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,

Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,

Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,

Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари,

Есть тоска веселая в алостях зари.

1910

«Дымом половодье…»

Дымом половодье

Зализало ил.

Желтые поводья

Месяц уронил.

Еду на баркасе,

Тычусь в берега.

Церквами у прясел

Рыжие стога.

Заунывным карком

В тишину болот

Черная глухарка

К всенощной зовет.

Роща синим мраком

Кроет голытьбу…

Помолюсь украдкой

За твою судьбу.

1910

«Сыплет черемуха снегом…»

Сыплет черемуха снегом,

Зелень в цвету и росе.

В поле, склоняясь к побегам,

Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,

Пахнет смолистой сосной.

Ой вы, луга и дубравы, —

Я одурманен весной.

Радуют тайные вести,

Светятся в душу мою.

Думаю я о невесте,

Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,

Пойте вы, птахи, в лесу.

По полю зыбистым бегом

Пеной я цвет разнесу.

1910

Калики

Проходили калики деревнями,

Выпивали под окнами квасу,

У церквей пред затворами древними

Поклонялись пречистому Спасу.

Пробиралися странники по полю,

Пели стих о сладчайшем Исусе.

Мимо клячи с поклажею топали,

Подпевали горластые гуси.

Ковыляли убогие по стаду,

Говорили страдальные речи:

«Все единому служим мы господу,

Возлагая вериги на плечи».

Вынимали калики поспешливо

Для коров сбереженные крохи.

И кричали пастушки насмешливо:

«Девки, в пляску! Идут скоморохи!»

1910

«Под венком лесной ромашки…»

Под венком лесной ромашки

Я строгал, чинил челны,

Уронил кольцо милашки

В струи пенистой волны.

Лиходейная разлука,

Как коварная свекровь.

Унесла колечко щука,

С ним — милашкину любовь.

Не нашлось мое колечко,

Я пошел с тоски на луг,

Мне вдогон смеялась речка:

«У милашки новый друг».

Не пойду я к хороводу:

Там смеются надо мной,

Повенчаюсь в непогоду

С перезвонною волной.

1911

«Темна ноченька, не спится…»

Темна ноченька, не спится,

Выйду к речке на лужок.

Распоясала зарница

В пенных струях поясок.

На бугре береза-свечка

В лунных перьях серебра.

Выходи, мое сердечко,

Слушать песни гусляра.

Залюбуюсь, загляжусь ли

На девичью красоту,

А пойду плясать под гусли,

Так сорву твою фату.

В терем темный, в лес зеленый,

На шелковы купыри[14],

Уведу тебя под склоны

Вплоть до маковой зари.

1911

«Хороша была Танюша, краше не было в селе»

Хороша была Танюша, краше не было в селе,

Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.

У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.

Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:

«Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой».

Побледнела, словно саван, схолодела, как роса.
Душегубкою-змеею развилась ее коса.
«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,
Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу».
Не заутренние звоны, а венчальный переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.
Не кукушки загрустили — плачет Танина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе, —
Хороша была Танюша, краше не было в селе.
1911

«Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха…»
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.
Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.
То не зори в струях озера свой выткали узор,
Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за косогор.
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Пусть послушает красавица прибаски жениха.
1912

«Матушка в Купальницу по лесу ходила…»
Матушка в Купальницу[15] по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.
Травы ворожбиные[16] ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился я с песнями в травном одеяле,
Зори меня вешние в радугу свивали.
Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.
Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.
Как снежинка белая, в просини я таю

Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

1912

«Задымился вечер, дремлет кот на брусе…»

Задымился вечер, дремлет кот на брусе.

Кто-то помолился: «Господи Исусе».

Полыхают зори, курятся туманы,

Над резным окошком занавес багряный.

Вьются паутины с золотой повети.

Где-то мышь скребется в затворенной клети…

У лесной поляны — в свяслах[17] копны хлеба,

Ели, словно копья, уперлися в небо.

Закадили дымом под росою рощи…

В сердце почивают тишина и мощи.

1912

Береза

Белая береза

Под моим окном

Принакрылаеь снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит береза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

<1913>

Пороша

Еду. Тихо. Слышны звоны

Под копытом на снегу,

Только серые вороны

Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна,

Словно белою косынкой

Подвизалася сосна.

Понагнулась, как старушка,

Оперлася на клюку,

А над самою макушкой

Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много,

Валит снег и стелет шаль.

Бесконечная дорога

Убегает лентой вдаль.

<1914>

Кузнец[18]

Душно в кузнице угрюмой,

И тяжел несносный жар,

И от визга и от шума

В голове стоит угар.

К наковальне наклоняясь,

Машут руки кузнеца,

Сетью красной рассыпаясь,

Вьются искры у лица.

Взор отважный и суровый

Блещет радугой огней,

Словно взмах орла, готовый

Унестись за даль морей…

Куй, кузнец, рази ударом,

Пусть с лица струится пот.

Зажигай сердца пожаром,

Прочь от горя и невзгод!

Закали свои порывы,

Преврати порывы в сталь

И лети мечтой игривой

Ты в заоблачную даль.

Там вдали, за черной тучей,

За порогом хмурых дней,

Реет солнца блеск могучий

Над равнинами полей.

Тонут пастбища и нивы

В голубом сиянье дня,

И над пашнею счастливо

Созревают зеленя.

Взвейся к солнцу с новой силой.

Загорись в его лучах.

Прочь от робости постылой,

Сбрось скорей постыдный страх.

<1914>

«Зашумели над затоном тростники…»

Зашумели над затоном тростники.

Плачет девушка-царевна у реки.

Погадала красна девица в семик[19].

Расплела волна венок из повилик.

Ах, не выйти в жены девушке весной,

Запугал ее приметами лесной.

На березке пообъедена кора, —

Выживают мыши девушку с двора.

Бьются кони, грозно машут головой, —

Ой, не любит черны косы домовой.

Запах ладана от рощи ели льют.

Звонки ветры панихидную поют.

Ходит девушка по бережку грустна,

Ткет ей саван нежнопенная волна.

1914

«Троицыно утро, утренний канон…»

Троицыно утро, утренний канон,

В роще по березкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,

В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.

Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,

Похороним вместе молодость мою.

Троицыно утро, утренний канон.

В роще по березкам белый перезвон.

1914

«Край любимый! Сердцу снятся…»

Край любимый! Сердцу снятся

Скирды солнца в водах лонных.

Я хотел бы затеряться

В зеленях твоих стозвонных.

По меже, на переметке,

Резеда и риза кашки.

И вызванивают в четки

Ивы — кроткие монашки.

Курит облаком болото,

Гарь в небесном коромысле.

С тихой тайной для кого-то

Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, все приемлю,

Рад и счастлив душу вынуть.

Я пришел на эту землю,

Чтоб скорей ее покинуть.

1914

«Пойду в скуфье смиренным иноком…»

Пойду в скуфье смиренным иноком

Иль белобрысым босяком —

Туда, где льется по равнинам

Березовое молоко.

Хочу концы земли измерить,

Доверясь призрачной звезде,

И в счастье ближнего поверить

В звенящей рожью борозде.

Рассвет рукой прохлады росной

Сшибает яблоки зари.

Сгребая сено на покосах,

Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,

Я говорю с самим собой:

Счастлив, кто жизнь свою украсил

Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,

Живя без друга и врага,

Пройдет проселочной дорогой,

Молясь на копны и стога.

1914

«Шел господь пытать людей в любови…»

Шел господь пытать людей в любови,

Выходил он нищим на кулежку[20].

Старый дед на пне сухом, в дуброве,

Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,

На тропинке, с клюшкою железной,

И подумал: «Вишь, какой убогой, —

Знать, от голода качается, болезный».

Подошел господь, скрывая скорбь и муку:

Видно, мол, сердца их не разбудишь…

И сказал старик, протягивая руку:

«На, пожуй… маленько крепче будешь».

1914

В хате

Пахнет рыхлыми драченами[21];

У порога в дежке[22] квас,

Над печурками[23] точеными

Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,

В печке нитки попелиц,

А на лавке за солонкою —

Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,

Нагибается низко,

Старый кот к махотке крадется

На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные

Над оглоблями сохи,

На дворе обедню стройную

Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,

От пугливой шумоты,

Из углов щенки кудлатые

Заползают в хомуты.

1914

«По селу тропинкой кривенькой…»

По селу тропинкой кривенькой

В летний вечер голубой

Рекрута ходили с ливенкой

Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые

Да последние деньки:

«Ты прощай, село родимое,

Темна роща и пеньки».

Зори пенились и таяли.

Все кричали, пяча грудь:

«До рекрутства горе маяли,

А теперь пора гульнуть».

Размахнув кудрями русыми,

В пляс пускались весело.

Девки брякали им бусами,

Зазывали за село.

Выходили парни бравые

За гуменные плетни,

А девчоночки лукавые

Убегали, — догони!

Над зелеными пригорками

Развевалися платки.

По полям бредя с кошелками,

Улыбались старики.

По кустам, в траве над лыками,

Под пугливый возглас сов,

Им смеялась роща зыками

С переливом голосов.

По селу тропинкой кривенькой,

Ободравшись о пеньки,

Рекрута играли в ливенку

Про оста?льные деньки.

1914

«Гой ты, Русь, моя родная…»

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты — в ризах образа…

Не видать конца и края —

Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,

Я смотрю твои поля.

А у низеньких околиц

Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом

По церквам твой кроткий Спас.

И гудит за корогодом

На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке

На приволь зеленых лех,

Мне навстречу, как сережки,

Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!» —

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

1914

«Я — пастух; мои палаты…»

Я — пастух; мои палаты —

Межи зыбистых полей,

По горам зеленым — скаты

С гарком гулких дупелей.

Вяжут кружево над лесом

В желтой пене облака.

В тихой дреме под навесом

Слышу шепот сосняка.

Светят зелено в сутёмы

Под росою тополя.

Я — пастух; мои хоромы —

В мягкой зелени поля.

Говорят со мной коровы

На кивливом языке.

Духовитые дубровы

Кличут ветками к реке.

Позабыв людское горе,

Сплю на вырублях сучья,

Я молюсь на алы зори,

Причащаюсь у ручья.

1914

«Сторона ль моя, сторонка…»

Сторона ль моя, сторонка,

Горевая полоса.

Только лес, да посолонка,

Да заречная коса…

Чахнет старая церквушка,

В облака закинув крест.

И забольная кукушка

Не летит с печальных мест.

По тебе ль, моей сторонке,

В половодье каждый год

С подожочка и котомки

Богомольный льется пот.

Лица пыльны, загорелы,

Веки выглодала даль,

И впилась в худое тело

Спаса кроткого печаль.

1914

«Сохнет стаявшая глина…»

Сохнет стаявшая глина,

На сугорьях гниль опенок.

Пляшет ветер по равнинам,

Рыжий ласковый осленок.

Пахнет вербой и смолою.

Синь то дремлет, то вздыхает.

У лесного аналоя

Воробей псалтырь читает.

Прошлогодний лист в овраге

Средь кустов — как ворох меди.

Кто-то в солнечной сермяге

На осленке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,

Но лицо его туманно.

Никнут сосны, никнут ели

И кричат ему: «Осанна!»

1914

«По дороге идут богомолки…»

По дороге идут богомолки,

Под ногами полынь да комли.

Раздвигая щипульные колки,

На канавах звенят костыли.

Топчут лапти по полю кукольни[24],

Где-то ржанье и храп табуна,

И зовет их с большой колокольни

Гулкий звон, словно зык чугуна.

Отряхают старухи дулейки[25],

Вяжут девки косницы[26] до пят.

Из подворья с высокой келейки

На платки их монахи глядят.

На вратах монастырские знаки:

«Упокою грядущих ко мне»,

А в саду разбрехались собаки,

Словно чуя воров на гумне.

Лижут сумерки золото солнца,

В дальних рощах аукает звон…

По тени от ветлы-веретенца

Богомолки идут на канон.

1914

«Край ты мой заброшенный…»

Край ты мой заброшенный,

Край ты мой, пустырь,

Сенокос некошеный,

Лес да монастырь.

Избы забоченились,

А и всех-то пять.

Крыши их запенились

В заревую гать.

Под соломой-ризою

Выструги стропил,

Ветер плесень сизую

Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха

Вороны крылом,

Как метель, черемуха

Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике

Жисть твоя и быль,

Что под вечер путнику

Нашептал ковыль?

1914

«Заглушила засуха засевки…»

Заглушила засуха засевки,

Сохнет рожь, и не всходят овсы.

На молебен с хоругвями девки

Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чащи,

Лихоманную грусть затая.

Загузынил дьячишко ледащий:

«Спаси, господи, люди твоя».

Открывались небесные двери,

Дьякон бавкнул из кряжистых сил:

«Еще молимся, братья, о вере,
Чтобы бог нам поля оросил».
Заливались веселые птахи,
Крапал брызгами поп из горстей,
Стрекотуньи-сороки, как свахи,
Накликали дождливых гостей.
Зыбко пенились зори за рощей,
Как холстины ползли облака,
И туманно по быльнице тощей
Меж кустов ворковала река.
Скинув шапки, молясь и вздыхая,
Говорили промеж мужики:
«Колосилась-то ярь неплохая,
Да сгубили сухие деньки».
На коне — черной тучице в санках —
Билось пламя-шлея… синь и дрожь.
И кричали парнишки в еланках[27]:
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!»
1914

«Черная, потом пропахшая выть…»
Черная, потом пропахшая выть[28]!
Как мне тебя не ласкать, не любить?
Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льнет благодать.
Серым веретьем[29] стоят шалаши,
Глухо баюкают хлюпь камыши.
Красный костер окровил таганы,
В хворосте белые веки луны.
Тихо, на корточках, в пятнах зари
Слушают сказ старика косари.
Где-то вдали, на кукане[30] реки,
Дремную песню поют рыбаки.
Оловом светится лужная голь…
Грустная песня, ты — русская боль,
1914

«Топи да болота…»

Топи да болота,

Синий плат небес.

Хвойной позолотой

Взвенивает лес.

Тенькает синица

Меж лесных кудрей,

Темным елям снится

Гомон косарей.

По лугу со скрипом

Тянется обоз —

Суховатой липой

Пахнет от колес.

Слухают ракиты

Посвист ветряной…

Край ты мой забытый,

Край ты мой родной!..

1914

Марфа Посадница[31]

1

Не сестра месяца из темного болота

В жемчуге кокошник в небо запрокинула, —

Ой, как выходила Марфа за ворота,

Письменище черное из дулейки вынула.

Раскололся зыками колокол на вече,

Замахали кружевом полотнища зорние;

Услыхали ангелы голос человечий,

Отворили наскоро окна-ставни горние.

Возговорит Марфа голосом серебряно:

«Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы!

Грамотой московскою извольно повелено

Выгомонить вольницы бражные загулы!»

Заходила буйница выхвали старинной,

Бороды, как молнии, выпячили грозно:

«Что нам Московия, — как поставник блинный!

Там бояр-те жены хлыстают загозно!»

Марфа на крылечко праву ножку кинула,

Левой помахала каблучком сафьяновым.

«Быть так», — кротко молвила, черны брови сдвинула —

Не ручьи — брызгатели выцветням росяновым…

2

Не чернец беседует с господом в затворе —

Царь московский антихриста вызывает:

«Ой, Виельзевуле, горе мое, горе,

Новгород мне вольный ног не лобызает!»

Вылез из запечья сатана гадюкой,

В пучеглазых бельмах исчаведье ада:

«Побожися душу выдать мне порукой,

Иначе не будет с Новгородом слада!»

Вынул он бумаги — облака клок,

Дал ему перо — от молнии стрелу.

Чиркнул царь кинжалищем локоток,

Расчеркнулся и зажал руку в полу.

Зарычит антихрист земным гудом:

«А и сроку тебе, царь, даю четыреста лет!

Как пойдет на Москву заморский Иуда,

Тут тебе с Новгородом и сладу нет!»

«А откуль гроза, когда ветер шумит?» —

Задает ему царь хитрой спрос.

Говорит сатана зыком черных згит:

«Этот ответ с собой ветер унес…»

3

На соборах Кремля колокола заплакали,

Собирались стрельцы из дальних слобод;

Кони ржали, сабли звякали,

Глас приказный чинно слухал народ.

Закраснели хоругви, образа засверкали,

Царь пожаловал бочку с вином.

Бабы подолами слезы утирали, —

Кто-то воротится невредим в дом?

Пошли стрельцы, запылили по полю:

«Берегись ты теперь, гордый Новоград!»

Пики тенькали, кони топали, —

Никто не пожалел и не обернулся назад.

Возговорит царь жене своей:

«А и будет пир на красной браге!

Послал я сватать неучтивых семей,

Всем подушки голов расстелю в овраге».

«Государь ты мой, — шомонит жена, —

Моему ль уму судить суд тебе!..

Тебе власть дана, тебе воля дана,

Ты челом лишь бьешь одноей судьбе…»

4

В зарукавнике Марфа богу молилась,

Рукавом горючи слезы утирала;

За окошко она наклонилась,

Голубей к себе на колени сзывала.

«Уж вы, голуби, слуги боговы,

Солетайте-ко в райский терем,

Вертайтесь в земное логово,

Стучитесь к новоградским дверям!»

Приносили голуби от бога письмо,

Золотыми письменами рубленное;

Села Марфа за расшитою тесьмой:

«Уж ты счастье ль мое загубленное!»

И писал господь своей верной рабе:

«Не гони метлой тучу вихристу;

Как московский царь на кровавой гульбе

Продал душу свою антихристу…»

5

А и минуло теперь четыреста лет.

Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,

Исполнить святой Марфин завет:

Заглушить удалью московский шум?

А пойдемте, бойцы, ловить кречетов,

Отошлем дикомытя с потребою царю:

Чтобы дал нам царь ответ в сечи той,

Чтоб не застил он новоградскую зарю.

Ты шуми, певунный Волохов, шуми,

Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш!

Выше, выше, вихорь, тучи подыми!

Ой ты, Новгород, родимый наш!

Как по быльнице тропинка пролегла;

А пойдемте стольный Киев звать!

Ой ли вы, с Кремля колокола,

А пора небось и честь вам знать!

Пропоем мы богу с ветрами тропарь,

Вспеним белую попончу,

Загудит нам с веча колокол, как встарь,

Тут я, ребята, и покончу.

Сентябрь 1914

Микола[32]

1

В шапке облачного скола,

В лапоточках, словно тень,

Ходит милостник Микола

Мимо сел и деревень.

На плечах его котомка,

Стягловица в две тесьмы,

Он идет, поет негромко

Иорданские псалмы.

Злые скорби, злое горе

Даль холодная впила;

Загораются, как зори,

В синем небе купола.

Наклонивши лик свой кроткий,

Дремлет ряд плакучих ив,

И как шелковые четки

Веток бисерный извив.

Ходит ласковый угодник,

Пот елейный льет с лица:

«Ой ты, лес мой, хороводник,

Прибаюкай пришлеца».

2

Заневестилася кругом

Роща елей и берез.

По кустам зеленым лугом

Льнут охлопья синих рос.

Тучка тенью раскололa

Зеленистый косогор…

Умывается Микола

Белой пеной из озер.

Под березкою-невестой,

За сухим посошником,

Утирается берестой,

Словно мягким рушником.

И идет стопой неспешной

По селеньям, пустырям:

«Я, жилец страны нездешной,

Прохожу к монастырям».

Высоко стоит злотравье,

Спорынья кадит туман:

«Помолюсь схожу за здравье

Православных христиан».

3

Ходит странник по дорогам,

Где зовут его в беде,

И с земли гуторит с богом

В белой туче-бороде.

Говорит господь с престола,

Приоткрыв окно за рай:

«О мой верный раб. Микола,

Обойди ты русский край.

Защити там в черных бедах

Скорбью вытерзанный люд.

Помолись с ним о победах

И за нищий их уют».

Ходит странник по трактирам,

Говорит, завидя сход:

«Я пришел к вам, братья, с миром

Исцелить печаль забот.

Ваши души к подорожью

Тянет с посохом сума.

Собирайте милость божью

Спелой рожью в закрома».

4

Горек запах черной гари,

Осень рощи подожгла.

Собирает странник тварей,

Кормит просом с подола.

«Ой, прощайте, белы птахи,

Прячьтесь, звери, в терему.

Темный бор, — щекочут свахи,—

Сватай девицу-зиму».

«Всем есть место, всем есть логов,

Открывай, земля, им грудь!

Я — слуга давнишний богов —

В божий терем правлю путь».

Звонкий мрамор белых лестниц

Протянулся в райский сад;

Словно космища кудесниц,

Звезды в яблонях висят.

На престоле светит зорче

В алых ризах кроткий Спас;

«Миколае-чудотворче,

Помолись ему за нас».

5

Кроют зори райский терем,

У окошка божья мать

Голубей сзывает к дверям

Рожь зернистую клевать.

«Клюйте, ангельские птицы:

Колос — жизненный полет».

Ароматней медуницы

Пахнет жней веселых пот.

Кружевами лес украшен,

Ели словно купина.

По лощинам черных пашен —

Пряжа выснежного льна.

Засучивши с рожью полы,

Пахаря трясут лузгу,

В честь угодника Миколы

Сеют рожью на снегу.

И, как по траве окосья

В вечереющий покос,

На снегу звенят колосья

Под косницами берез.

1913—<август 1914>

Русь[33]

1

Потонула деревня в ухабинах,

Заслонили избенки леса.

Только видно, на кочках и впадинах,

Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние,

Волки грозные с тощих полей.

По дворам в погорающем инее

Над застрехами храп лошадей.

Как совиные глазки, за ветками

Смотрят в шали пурги огоньки.

И стоят за дубровными сетками,

Словно нечисть лесная, пеньки.

Запугала нас сила нечистая,

Что ни прорубь — везде колдуны.

В злую заморозь в сумерки мглистые

На березках висят галуны.

2

Но люблю тебя, родина кроткая!

А за что — разгадать не могу.

Весела твоя радость короткая

С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою

Слушать вечером гуд комаров.

А как гаркнут ребята тальянкою,

Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,

Угли-очи в подковах бровей.

Ой ты, Русь моя, милая родина,

Сладкий отдых в шелку купырей.

3

Понакаркали черные вороны:

Грозным бедам широкий простор.

Крутит вихорь леса во все стороны,

Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,

Тучи рваные кутают лес.

На подвесках из легкого золота

Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские

Ополченцам идти на войну.

Загыгыкали бабы слободские,

Плач прорезал кругом тишину.

Собирался мирные пахари

Без печали, без жалоб и слез,

Клали в сумочки пышки на сахаре

И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы

Провожал их огулом народ…

Вот где, Русь, твои добрые молодцы,

Вся опора в годину невзгод.

4

Затомилась деревня невесточкой —

Как-то милые в дальнем краю?

Отчего не уведомят весточкой, —

Не погибли ли в жарком бою?

В роще чудились запахи ладана,

В ветре бластились стуки костей.

И пришли к ним нежданно-негаданно

С дальней волости груды вестей.

Сберегли по ним пахари памятку,

С потом вывели всем по письму.

Подхватили тут родные грамотку,

За ветловую сели тесьму.

Собрался над четницей Лушею

Допытаться любимых речей.

И на корточках плакали, слушая,

На успехи родных силачей.

5

Ах, поля мои, борозды милые,

Хороши вы в печали своей!

Я люблю эти хижины хилые

С поджиданьем седых матерей.

Принаду к лапоточкам берестяным,

Мир вам, грабли, коса и соха!

Я гадаю по взорам невестиным

На войне о судьбе жениха.

Помирился я с мыслями слабыми,

Хоть бы стать мне кустом у воды.

Я хочу верить в лучшее с бабами,

Тепля свечку вечерней звезды.

Разгадал я их думы несметные,

Не спугнет их ни гром и ни тьма.

За сохою под песни заветные

Не причудится смерть и тюрьма.

Они верили в эти каракули,

Выводимые с тяжким трудом,

И от счастья и радости плакали,

Как в засуху над первым дождем.

А за думой разлуки с родимыми

В мягких травах, под бусами рос,

Им мерещился в далях за дымами

Над лугами веселый покос.

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,

Лишь к тебе я любовь берегу.

Весела твоя радость короткая

С громкой песней весной на лугу.

1914

«Туча кружево в роще связала…»

Туча кружево в роще связала,

Закурился пахучий туман.

Еду грязной дорогой с вокзала

Вдалеке от родимых полян.

Лес застыл без печали и шума,

Виснет темь, как платок, за сосной.

Сердце гложет плакучая дума…

Ой, не весел ты, край мой родной.

Пригорюнились девушки-ели,

И поет мой ямщик на-умяк:

«Я умру на тюремной постели,

Похоронят меня кое-как».

1915

«На плетнях висят баранки…»

На плетнях висят баранки,

Хлебной брагой льет теплынь.

Солнца струганые дранки

Загораживают синь.

Балаганы, пни и колья,

Карусельный пересвист.

От вихлистого приволья

Гнутся травы, мнется лист.

Дробь копыт и хрип торговок,

Пьяный пах медовых сот.

Берегись, коли не ловок:

Вихорь пылью разметет.

За лещужною сурьмою —

Бабий крик, как поутру.

Не твоя ли шаль с каймою

Зеленеет на ветру?

Ой, удал и многосказен

Лад веселый на пыжну.

Запевай, как Стенька Разин

Утопил свою княжну.

Ты ли, Русь, тропой-дорогой

Разметала ал наряд?

Не суди молитвой строгой

Напоенный сердцем взгляд.

1915

Поминки

Заслонили ветлы сиротливо

Косниками мертвые жилища.

Словно снег, белеется коливо[34] —
На помин небесным птахам пища.
Тащат галки рис с могилок постный,
Вяжут нищие над сумками бечевки.
Причитают матери и крестны,
Голосят невесты и золовки.
По камням, над толстым слоем пыли,
Вьется хмель, запутанный и клейкий.
Длинный поп в худой епитрахили
Подбирает черные копейки.
Под черед за скромным подаяньем
Ищут странницы отпетую могилу.
И поет дьячок за поминаньем:
«Раб усопших, господи, помилуй».
<1915>

«В том краю, где желтая крапива…»
В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.
Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.
Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу,

Что я сердцем чист.

Но и я кого-нибудь зарежу

Под осенний свист.

И меня по ветряному свею[35],

По тому ль песку,

Поведут с веревкою на шее

Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом

Распрямлю я грудь,

Языком залижет непогода

Прожитой мой путь.

1915

Корова

Дряхлая, выпали зубы,

Свиток годов на рогах.

Бил ее выгонщик грубый

На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,

Мыши скребут в уголке.

Думает грустную думу

О белоногом телке.

Не дали матери сына,

Первая радость не впрок.

И на колу под осиной

Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом свее,

С той же сыновней судьбой,

Свяжут ей петлю на шее

И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще

В землю вопьются рога…

Снится ей белая роща

И травяные луга.

1915

Табун

В холмах зеленых табуны коней

Сдувают ноздрями златой налет со дней.

С бугра высокого в синеющий залив

Упала смоль качающихся грив.

Дрожат их головы над тихою водой,

И ловит месяц их серебряной уздой.

Храпя в испуге на свою же тень,

Зазастить гривами они ждут новый день.

Весенний день звенит над конским ухом

С приветливым желаньем к первым мухам.

Но к вечеру уж кони над лугами

Брыкаются и хлопают ушами.

Все резче звон, прилипший на копытах,

То тонет в воздухе, то виснет на ракитах.

И лишь волна потянется к звезде,

Мелькают мухи пеплом по воде.

Погасло солнце. Тихо на лужке.

Пастух играет песню на рожке.

Уставясь лбами, слушает табун,

Что им поет вихрастый гамаюн[36].

А эхо резвое, скользнув по их губам,

Уносит думы их к неведомым лугам.

Любя твой день и ночи темноту,

Тебе, о родина, сложил я песню ту.

1915

«Алый мрак в небесной черни…»

Алый мрак в небесной черни

Начертил пожаром грань.

Я пришел к твоей вечерне,

Полевая глухомань.

Нелегка моя кошница[37],

Но глаза синее дня.

Знаю, мать-земля черница,

Все мы тесная родня.

Разошлись мы в даль и шири

Под лазоревым крылом.

Но сзовет нас из псалтыри

Заревой заре псалом.

И придем мы по равнинам

К правде сошьего креста[38]

Светом книги голубиной[39]

Напоить свои уста.

<1915>

«В лунном кружеве украдкой…»

В лунном кружеве украдкой

Ловит призраки долина.

На божнице за лампадкой

Улыбнулась Магдалина.

Кто-то дерзкий, непокорный,

Позавидовал улыбке.

Вспучил бельма вечер черный,

И луна — как в белой зыбке.

Разыгралась тройка-вьюга,

Брызжет пот, холодный, терпкий,

И плакучая лещуга

Лезет к ветру на закорки.

Смерть в потемках точит бритву…

Вон уж плачет Магдалина.

Помяни мою молитву

Тот, кто ходит по долинам.

<1915>

Песнь о собаке[40]

Утром в ржаном закуте,

Где златятся рогожи в ряд,

Семерых ощенила сука,

Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,

Причесывая языком,

И струился снежок подталый

Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры

Обсиживают шесток,

Вышел хозяин хмурый,

Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,

Поспевая за ним бежать…

И так долго, долго дрожала

Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,

Слизывая пот с боков,

Показался ей месяц над хатой

Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко

Глядела она, скуля,

А месяц скользил тонкий

И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,

Когда бросят ей камень в смех,

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег.

1915

Осень

Р. В. Иванову[41]

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.

Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.

Над речным покровом берегов

Слышен синий лязг ее подков.

Схимник-ветер шагом осторожным

Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту

Язвы красные незримому Христу.

<1914–1916>

«За темной прядью перелесиц…»

За темной прядью перелесиц,

В неколебимой синеве,

Ягненочек кудрявый — месяц

Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой

Бодаются его рога, —

И кажется с тропы далекой —

Вода качает берега.

А степь под пологом зеленым

Кадит черемуховый дым

И за долинами по склонам

Свивает полымя над ним.

О сторона ковыльной пущи,

Ты сердцу ровностью близка,

Но и в твоей таится гуще

Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной требе,

Забыв, кто друг тебе и враг,

О розовом тоскуешь небе

И голубиных облаках.

Но и тебе из синей шири

Пугливо кажет темнота

И кандалы твоей Сибири,

И горб Уральского хребта.

<1915–1916>

«Еще не высох дождь вчерашний…»

Еще не высох дождь вчерашний —

В траве зеленая вода!

Тоскуют брошенные пашни,

И вянет, вянет лебеда.

Брожу по улицам и лужам,

Осенний день пуглив и дик.

И в каждом встретившемся муже

Хочу постичь твой милый лик.

Ты все загадочней и краше

Глядишь в неясные края.

О, для тебя лишь счастье наше

И дружба верная моя.

И если смерть по божьей воле

Смежит глаза твои рукой,

Клянусь, что тенью в чистом поле
Пойду за смертью и тобой.
<1916>

«В зеленой церкви за горой…»

В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.
А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.
Не омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Застегнут смуглою рукою.
Все тог же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.
И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне!
<1916>

«Даль подернулась туманом…»

Даль подернулась туманом,
Чешет тучи лунный гребень.
Красный вечер за куканом
Расстелил кудрявый бредень.
Под окном от скользких ветел
Перепельи звоны ветра.
Тихий сумрак, ангел теплый,
Напоен нездешним светом.
Сон избы легко и ровно

Хлебным духом сеет притчи.

На сухой соломе в дровнях

Слаще меда пот мужичий.

Чей-то мягкий лик за лесом,

Пахнет вишнями и мохом…

Друг, товарищ и ровесник,

Помолись коровьим вздохам.

Июнь 1916

«День ушел, убавилась черта…»

День ушел, убавилась черта,

Я опять подвинулся к уходу.

Легким взмахом белого перста

Тайны лет я разрезаю воду.

В голубой струе моей судьбы

Накипи холодной бьется пена,

И кладет печать немого плена

Складку новую у сморщенной губы.

С каждым днем я становлюсь чужим

И себе, и жизнь кому велела.

Где-то в поле чистом, у межи,

Оторвал я тень свою от тела.

Неодетая она ушла,

Взяв мои изогнутые плечи.

Где-нибудь она теперь далече

И другого нежно обняла.

Может быть, склоняяся к нему,

Про меня она совсем забыла

И, вперившись в призрачную тьму,

Складки губ и рта переменила.

Но живет по звуку прежних лет,

Что, как эхо, бродит за горами.

Я целую синими губами

Черной тенью тиснутый портрет.

<1916>

«Гаснут красные крылья заката…»

Гаснут красные крылья заката,

Тихо дремлют в тумане плетни.

Не тоскуй, моя белая хата,

Что опять мы одни и одни.

Чистит месяц в соломенной крыше

Обоймленные синью рога.

Не пошел я за ней и не вышел

Провожать за глухие стога.

Знаю, годы тревогу заглушат.

Эта боль, как и годы, пройдет.

И уста, и невинную душу

Для другого она бережет.

Не силен тот, кто радости просит,

Только гордые в силе живут.

А другой изомнет и забросит,

Как изъеденный сырью хомут.

Не с тоски я судьбы поджидаю,

Будет злобно крутить пороша.

И придет она к нашему краю

Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,

Примостится со мной у огня.

И спокойно и ласково скажет,

Что ребенок похож на меня.

<1916>

«Синее небо, цветная дуга…»

Синее небо, цветная дуга,

Тихо степные бегут берега,

Тянется дым, у малиновых сел

Свадьба ворон облегла частокол.

Снова я вижу знакомый обрыв

С красною глиной и сучьями ив,

Грезит над озером рыжий овес,

Пахнет ромашкой и медом от ос.

Край мой! Любимая Русь и Мордва!

Притчею мглы ты, как прежде, жива.

Нежно под трепетом ангельских крыл

Звонят кресты безымянных могил.

Многих ты, родина, ликом своим

Жгла и томила по шахтам сырым.

Много мечтает их, сильных и злых,

Выкусить ягоды персей твоих.

Только я верю: не выжить тому,

Кто разлюбил твой острог и тюрьму…

Вечная правда и гомон лесов

Радуют душу под звон кандалов.

<1916>

«За горами, за желтыми долами…»

За горами, за желтыми долами

Протянулась тропа деревень.

Вижу лес и вечернее полымя,

И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами

Голубеет небесный песок,

И звенит придорожными травами

От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною

Дорога мне зеленая ширь —

Полюбил я тоской журавлиною

На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,

Как повиснет заря на мосту,

Ты идешь, моя бедная странница,

Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,

Жадно слушаешь ты ектенью,[42]

Помолись перед ликом спасителя

За погибшую душу мою.

1916

«Опять раскинулся узорно…»

Опять раскинулся узорно

Над белым полем багрянец,

И заливается задорно

Нижегородский бубенец.

Под затуманенною дымкой

Ты кажешь девичью красу,

И треплет ветер под косынкой

Рыжеволосую косу.

Дуга, раскалываясь, пляшет,

То выныряя, то пропав,

Не заворожит, не обмашет

Твой разукрашенный рукав.

Уже давно мне стала сниться

Полей малиновая ширь,

Тебе — высокая светлица,

А мне — далекий монастырь.

Там синь и полымя воздушней

И легкодымней пелена.

Я буду ласковый послушник,

А ты — разгульная жена.

И знаю я, мы оба станем

Грустить в упругой тишине:

Я по тебе — в глухом тумане,

А ты заплачешь обо мне.

Но и поняв, я не приемлю

Ни тихих ласк, ни глубины —

Глаза, увидевшие землю,

В иную землю влюблены.

1916

«Я снова здесь, в семье родной…»

Я снова здесь, в семье родной,

Мой край, задумчивый и нежный!

Кудрявый сумрак за горой

Рукою машет белоснежной.

Седины пасмурного дня

Плывут всклокоченные мимо,

И грусть вечерняя меня

Волнует непреодолимо.

Над куполом церковных глав

Тень от зари упала ниже.

О други игрищ и забав,

Уж я вас больше не увижу!

В забвенье канули года,

Вослед и вы ушли куда-то.

И лишь по-прежнему вода

Шумит за мельницей крылатой.

И часто я в вечерней мгле,

Под звон надломленной осоки,

Молюсь дымящейся земле

О невозвратных и далеких.

<1916>

«Не бродить, не мять в кустах багряных…»

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,

Нежная, красивая, была

На закат ты розовый похожа

И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,

Имя тонкое растаяло, как звук,

Но остался в складках смятой шали

Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,

Как котенок, моет лапкой рот,

Говор кроткий о тебе я слышу

Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,

Что была ты песня и мечта,

Всё ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —

К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

<1916>

«О красном вечере задумалась дорога…»

О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.
Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному двору;
Сквозь синь стекла желтоволосый отрок
Лучит глаза на галочью игру.
Обняв трубу, сверкает по повети[43]
Зола зеленая из розовой печи.
Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.
Кому-то пятками уже не мять по рощам
Щербленый лист и золото травы.
Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленной совы.
Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема,
Дорога белая узорит скользкий ров…
И нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров.
<1916>

Голубень

В прозрачном холоде заголубели долы,
Отчетлив стук подкованных копыт,
Трава поблекшая в расстеленные полы
Сбирает медь с обветренных ракит.
С пустых лощин ползет дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног.
Осенним холодом расцвечены надежды,
Бредет мой конь, как тихая судьба,
И ловит край махающей одежды

Его чуть мокрая буланая губа.

В дорогу дальнюю, не к битве, не к покою,

Влекут меня незримые следы,

Погаснет день, мелькнув пятой златою,

И в короб лет улягутся труды.

Сыпучей ржавчиной краснеют по дороге

Холмы плешивые и слегшийся песок,

И пляшет сумрак в галочьей тревоге,

Согнув лупу в пастушеский рожок.

Молочный дым качает ветром села,

Но ветра нет, есть только легкий звон.

И дремлет Русь в тоске своей веселой,

Вцепивши руки в желтый крутосклон.

Манит ночлег, недалеко до хаты,

Укропом вялым пахнет огород,

На грядки серые капусты волноватой

Рожок луны по капле масло льет.

Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба

И с хруптом мысленно кусаю огурцы,

За ровной гладью вздрогнувшее небо

Выводит облако из стойла под уздцы.

Ночлег, ночлег, мне издавна знакома

Твоя попутная разымчивость в крови,

Хозяйка спит, а свежая солома

Примята ляжками вдовеющей любви.

Уже светает, краской тараканьей

Обведена божница по углу,

Но мелкий дождь своей молитвой ранней

Еще стучит по мутному стеклу.

Опять передо мною голубое поле,

Качают лужи солнца рдяный лик.

Иные в сердце радости и боли,

И новый говор липнет на язык.

Водою зыбкой стынет синь во взорах,

Бредет мой конь, откинув удила,

И горстью смуглою листвы последний ворох

Кидает ветер вслед из подола.

<1916>

«Запели тесаные дроги…»

Запели тесаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.
Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка.
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.
О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.
И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.
<1916>

«О товарищах веселых…»

О товарищах веселых,
О полях посеребренных
Загрустила, словно голубь,
Радость лет уединенных.
Ловит память тонким клювом
Первый снег и первопуток.
В санках озера над лугом
Запоздалый окрик уток.
Под окном от скользких елей
Тень протягивает руки.
Тихих вод парагуш квелый
Курит люльку на излуке.

Легким дымом к дальним пожням

Шлет поклон день ласк и вишен.

Запах трав от бабьей кожи

На губах моих я слышу.

Мир вам, рощи, луг и липы,

Литии[44] медовый ладан!

Все приявшему с улыбкой

Ничего от вас не надо.

1916

«Прощай, родная пуща…»

Прощай, родная пуща,

Прости, златой родник.

Плывут и рвутся тучи

О солнечный сошник.

Сияй ты, день погожий,

А я хочу грустить.

За голенищем ножик

Мне больше не носить.

Под брюхом жеребенка

В глухую ночь не спать

И радостию звонкой

Лесов не оглашать.

И не избегнуть бури,

Не миновать утрат,

Чтоб прозвенеть в лазури

Кольцом незримых врат.

1916

«Покраснела рябина…»

Покраснела рябина,

Посинела вода.

Месяц, всадник унылый,

Уронил повода.

Снова выплыл из рощи

Синим лебедем мрак.

Чудотворные мощи

Он принес на крылах.

Край ты, край мой, родимый,

Вечный пахарь и вой[45],

Словно Во?льга[46] под ивой,

Ты поник головой.

Встань, пришло исцеленье,

Навестил тебя Спас.

Лебединое пенье

Нежит радугу глаз.

Дня закатного жертва

Искупила весь грех.

Новой свежестью ветра

Пахнет зреющий снег.

Но незримые дрожди

Все теплей и теплей…

Помяну тебя в дождик

Я, Есенин Сергей.

1916

«Там, где вечно дремлет тайна…»

Там, где вечно дремлет тайна,

Есть нездешние поля.

Только гость я, гость случайный

На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,

Крепок взмах воздушных крыл.

Но века твои и годы

Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,

Не с тобой мой связан рок.

Новый путь мне уготован

От захода на восток.

Суждено мне изначально

Возлететь в немую тьму.

Ничего я в час прощальный

Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,

В тот покой, где спит гроза,

В две луны зажгу над бездной

Незакатные глаза.

1916

«Тучи с ожереба…»

Тучи с ожереба

Ржут, как сто кобыл.

Плещет надо мною

Пламя красных крыл.

Небо словно вымя,

Звезды как сосцы.

Пухнет божье имя

В животе овцы.

Верю: завтра рано,

Чуть забрезжит свет,

Новый под туманом

Вспыхнет Назарет[47].

Новое восславят

Рождество поля,

И, как пес, пролает

За горой заря.

Только знаю: будет

Страшный вопль и крик,

Отрекутся люди

Славить новый лик.

Скрежетом булата

Вздыбят пасть земли…

И со щек заката

Спрыгнут скулы-дни.

Побегут, как лани,

В степь иных сторон,

Где вздымает длани

Новый Симеон[48].

1916

Лисица

А. М. Ремизову[49]

На раздробленной ноге приковыляла,

У норы свернулася в кольцо.

Тонкой прошвой кровь отмежевала

На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,

Колыхалася в глазах лесная топь.

Из кустов косматый ветер взбыстрил

И рассыпал звонистую дробь.

Как желна[50], над нею мгла металась,

Мокрый вечер липок был и ал.

Голова тревожно подымалась,

И язык на ране застывал.

Желтый хвост упал в метель пожаром,

На губах — как прелая морковь…

Пахло инеем и глиняным угаром,

А в ощур сочилась тихо кровь.

1916

«То не тучи бродят за овином…»

То не тучи бродят за овином

И не холод.

Замесила божья матерь сыну

Колоб.

Всякой снадобью она поила жито

В масле.

Испекла и положила тихо

В ясли.

Заигрался в радости младенец,

Пал в дрему,

Уронил он колоб золоченый

На солому.

Покатился колоб за ворота

Рожью.

Замутили слезы душу голубую

Божью.

Говорила божья матерь сыну

Советы:

«Ты не плачь, мой лебеденочек,

Не сетуй.

На земле все люди человеки,

Чада.

Хоть одну им малую забаву

Надо.

Жутко им меж темных

Перелесиц,

Назвала я этот колоб —

Месяц».

1916

«Проплясал, проплакал дождь весенний…»

Проплясал, проплакал дождь весенний,

Замерла гроза.

Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,

Подымать глаза…

Скучно слушать под небесным древом

Взмах незримых крыл:

Не разбудишь ты своим напевом

Дедовских могил!

Привязало, осаднило слово

Даль твоих времен.

Не в ветрах, а, знать, в томах тяжелых

Прозвенит твой сон.

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,

Вытянет персты.

Близок твой кому-то красный вечер,

Да не нужен ты.

Всколыхнет он Брюсова и Блока,

Встормошит других.

Но все так же день взойдет с востока,

Так же вспыхнет миг.

Не изменят лик земли напевы,

Не стряхнут листа…

Навсегда твои пригвождены ко древу

Красные уста.

Навсегда простер глухие длани

Звездный твой Пилат[51].

Или, Или, лама савахфани,[52]

Отпусти в закат.

<1916–1917>

«Устал я жить в родном краю…»

Устал я жить в родном краю

В тоске по гречневым просторам,

Покину хижину мою,

Уйду бродягою и вором.

Пойду по белым кудрям дня

Искать убогое жилище.

И друг любимый на меня

Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу

Обвита желтая дорога,

И та, чье имя берегу,

Меня прогонит от порога.

И вновь вернусь я в отчий дом,

Чужою радостью утешусь,

В зеленый вечер под окном

На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня

Нежнее головы наклонят.

И необмытого меня

Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,

Роняя весла по озерам,

И Русь все так же будет жить,

Плясать и плакать у забора.

<1916>

«О край дождей и непогоды…»

О край дождей и непогоды,

Кочующая тишина,

Ковригой хлебною под сводом

Надломлена твоя луна.

За перепаханною нивой

Малиновая лебеда.

На ветке облака, как слива,

Златится спелая звезда.

Опять дорогой верстовою,

Наперекор твоей беде,

Бреду и чую яровое

По голубеющей воде.

Клубит и пляшет дым болотный…

Но и в кошме певучей тьмы

Неизреченностью животной

Напоены твоя холмы.

<1917>

«Колокольчик среброзвонный…»

Колокольчик среброзвонный,

Ты поешь? Иль сердцу снится?

Свет от розовой иконы

На златых моих ресницах.

Пусть не я тот нежный отрок

В голубином крыльев плеске,

Сон мой радостен и кроток

О нездешнем перелеске.

Мне не нужен вздох могилы,

Слову с тайной не обняться.

Научи, чтоб можно было

Никогда не просыпаться.

<1917>

«Не напрасно дули ветры…»

Не напрасно дули ветры,

Не напрасно шла гроза.

Кто-то тайный тихим светом

Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней

Отгрустил я в синей мгле

О прекрасной, но нездешней,

Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,

Не тревожит звездный страх.

Полюбил я мир и вечность,

Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,

Все тревожное светло.

Плещет рдяный мак заката

На озерное стекло.

И невольно в море хлеба

Рвется образ с языка:

Отелившееся небо

Лижет красного телка.

<1917 >

«О Русь, взмахни крылами…»[53]

О Русь, взмахни крылами,

Поставь иную крепь!

С иными именами

Встает иная степь.

По голубой долине,

Меж телок и коров,

Идет в златой ряднине

Твой Алексей Кольцов.

В руках — краюха хлеба,

Уста — вишневый сок.

И вызвездило небо

Пастушеский рожок.

За ним, с снегов и ветра,

Из монастырских врат,

Идет, одетый светом,

Его середний брат.

От Вытегры до Шуи

Он избраздил весь край

И выбрал кличку — Клюев,

Смиренный Миколай.

Монашьи мудр и ласков,

Он весь в резьбе молвы,

И тихо сходит пасха

С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,

Иду, тропу тая,

Кудрявый и веселый,

Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,

Несчетны склоны гор;

Но даже с тайной бога

Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц

И на немую дрожь

Бросаю, в небо свесясь,

Из голенища нож.

За мной незримым роем

Идет кольцо других,

И далеко по селам

Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,

Слова трясем с двух пол.

И сродник наш, Чапыгин[54],

Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь ты, племя

Смердящих снов и дум!

На каменное темя

Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноять,

И славить взлетом гнусь —

Уж смыла, стерла деготь

Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами

Ее немая крепь!

С иными именами

Встает иная степь.

<1917>

«Гляну в поле, гляну в небо…»

Гляну в поле, гляну в небо —

И в полях и в небе рай.

Снова тонет в копнах хлеба

Незапаханный мой край.

Снова в рощах непасенных

Неизбывные стада,

И струится с гор зеленых

Златоструйная вода.

О, я верю — знать, за муки

Над пропащим мужиком

Кто-то ласковые руки

Проливает молоком.

<1917>

«Разбуди меня завтра рано…»[55]

Разбуди меня завтра рано,

О моя терпеливая мать!

Я пойду за дорожным курганом

Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще

След широких колес на лугу.

Треплет ветер под облачной кущей

Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,

Шапку-месяц пригнув под кустом,

И игриво взмахнет кобылица

Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,

Засвети в пашей горнице свет.

Говорят, что я скоро стану

Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,

Нашу печь, петуха и кров…

И на песни мои прольется

Молоко твоих рыжих коров.

1917

«Где ты, где ты, отчий дом…»

Где ты, где ты, отчий дом,

Гревший спину под бугром?

Синий, синий мой цветок,

Неприхоженный песок.

Где ты, где ты, отчий дом?

За рекой поет петух.

Там стада стерег пастух,

И светились из воды

Три далекие звезды.

За рекой поет петух.

Время — мельница с крылом

Опускает за селом

Месяц маятником в рожь

Лить часов незримый дождь.

Время — мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел

В тучах дом мой завертел,

Синий подкосил цветок,

Золотой примял песок.

Этот дождик с сонмом стрел.

1917

Товарищ[56]

Он был сыном простого рабочего,

И повесть о нем очень короткая.

Только и было в нем что волосы как ночь

Да глаза голубые, кроткие.

Отец его с утра до вечера

Гнул спину, чтоб прокормить крошку;

Но ему делать было нечего,

И были у него товарищи: Христос да кошка.

Кошка была старая, глухая,

Ни мышей, ни мух не слышала,

А Христос сидел на руках у матери

И смотрел с иконы на голубей под крышею.

Жил Мартин, и никто о нем не ведал.

Грустно стучали дни, словно дождь по железу.

И только иногда за скудным обедом

Учил его отец распевать марсельезу.

«Вырастешь, — говорил он, — поймешь…

Разгадаешь, отчего мы так нищи!»

И глухо дрожал его щербатый нож

Над черствой горбушкой насущной пищи.

Но вот под тесовым

Окном —

Два ветра взмахнули

Крылом;

То с вешнею полымью

Вод

Взметнулся российский

Народ…

Ревут валы,

Поет гроза!

Из синей мглы

Горят глаза.

За взмахом взмах,

Над трупом труп;

Ломает страх

Свой крепкий зуб.

Все взлет и взлет,

Все крик и крик!

В бездонный рот

Бежит родник…

И вот кому-то пробил

Последний, грустный час…

Но верьте, он не сробел

Пред силой вражьих глаз!

Душа его, как прежде,

Бесстрашна и крепка,

И тянется к надежде

Бескровная рука.

Он незадаром прожил,

Недаром мял цветы;

Но не на вас похожи

Угасшие мечты…

Нечаянно, негаданно

С родимого крыльца

Донесся до Мартина

Последний крик отца.

С потухшими глазами,

С пугливой синью губ,

Упал он на колени,

Обняв холодный труп.

Но вот приподнял брови,

Протер рукой глаза,

Вбежал обратно в хату

И стал под образа.

«Исус, Исус, ты слышишь?

Ты видишь? Я один.

Тебя зовет и кличет

Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый,

Но он не пал, как трус.

Я слышу, он зовет нас,

О верный мой Исус.

Зовет он нас на помощь,

Где бьется русский люд,

Велит стоять за волю,

За равенство и труд!..»

И, ласково приемля

Речей невинных звук,

Сошел Исус на землю

С неколебимых рук.

Идут рука с рукою,

А ночь черна, черна!..

И пыжится бедою

Седая тишина.

Мечты цветут надеждой

Про вечный, вольный рок.

Обоим нежит вежды

Февральский ветерок.

Но вдруг огни сверкнули…

Залаял медный груз.

И пал, сраженный пулей,

Младенец Иисус.

Слушайте:

Больше нет воскресенья!

Тело его предали погребенью:

Он лежит

На Марсовом

Поле.

А там, где осталась мать,

Где ему не бывать

Боле,

Сидит у окошка

Старая кошка,

Ловит лапой луну…

Ползает Мартин по полу:

«Соколы вы мои, соколы,

В плену вы,

В плену!»

Голос его все глуше, глуше,

Кто-то давит его, кто-то душит,

Палит огнем.

Но спокойно звенит

За окном,

То погаснув, то вспыхнув

Снова,

Железное

Слово:

«Рре-эс-пу-у-ублика!»

1917

Отчарь

1

Тучи — как озера,

Месяц — рыжий гусь.

Пляшет перед взором

Буйственная Русь.

Дрогнул лес зеленый,

Закипел родник.

Здравствуй, обновленный

Отчарь мой, мужик!

Голубые воды —

Твой покой и свет,

Гибельной свободы

В этом мире нет.

Пой, зови и требуй

Скрытые брега;

Не сорвется с неба

Звездная дуга!

Не обронит вечер

Красного ведра;

Могутные плечи —

Что гранит-гора.

2

Под облачным древом

Верхом на луне

Февральской метелью

Ревешь ты во мне.

Небесные дщери

Куделят кремник;

Учил тебя вере

Седой огневик.

Он дал тебе пику,

Грозовый ятаг

И силой Аники[57]

Отметил твой шаг.

Заря — как волчиха

С осклабленным ртом;

Но гонишь ты лихо

Двуперстным крестом.

Протянешь ли руку

Иль склонишь ты лик,

Кладешь ей краюху

На желтый язык.

И чуется зверю

Под радугой слов:

Алмазные двери

И звездный покров.

3

О чудотворец!

Широкоскулый и красноротый,

Приявший в корузлые руки

Младенца нежного,—

Укачай мою душу

На пальцах ног своих!

Я сын твой,

Выросший, как ветла

При дороге,

Научился смотреть в тебя,

Как в озеро.

Ты несказанен и мудр.

По сединам твоим

Узнаю, что был снег

На полях

И поемах.

По глазам голубым

Славлю

Красное

Лето.

4

Ах, сегодня весна, —

Ты взыграл, как поток!

Гладит волны челнок,

И поет тишина.

Слышен волховский звон

И Буслаев разгул,

Закружились под гул

Волга, Каспий и Дон.

Синегубый Урал

Выставляет клыки,

Но кадят Соловки[58]

В его синий оскал.

Всех зовешь ты на пир,

Тепля клич, как свечу,

Прижимаешь к плечу

Нецелованный мир.

Свят и мирен твой дар,

Синь и песня в речах,

И горит на плечах

Неотъемлемый шар!..

5

Закинь его в небо,

Поставь на столпы!

Там лунного хлеба

Златятся снопы.

Там голод и жажда

В корнях не поют,

Но зреет однаждный

Свет ангельских юрт.

Там с вызвоном блюда

Прохлада куста,

И рыжий Иуда

Целует Христа.

Но звон поцелуя

Деньгой не гремит,[59]

И цепь Акатуя —

Тропа перед скит.

Там дряхлое время,

Бродя по лугам,[60]

Все русское племя

Сзывает к столам.

И, славя отвагу

И гордый твой дух,

Сыченою брагой

Обносит их круг.

<1917>

«Небо ли такое белое…»

Небо ли такое белое,

Или солью выцвела вода?

Ты поешь, и песня оголтелая

Береговые вяжет повода.

Синим жерновом развеяны и смолоты

Водяные зерна на муку.

Голубой простор и золото

Опоясали твою тоску.

Не встревожен ласкою угрюмою

Загорелый взмах твоей руки.

Все равно — Архангельском иль Умбою[61]

Проплывать тебе на Соловки.

Все равно под стоптанною палубой

Видишь ты погорбившийся скит.

Подпевает тебе жалоба

Об изгибах тамошних ракит.

Так и хочется под песню свеситься

Над водою, спихивая день…

Но спокойно светит вместо месяца

Отразившийся на облаке тюлень.

1917

«Свищет ветер под крутым забором…»

Свищет ветер под крутым забором,

Прячется в траву.

Знаю я, что пьяницей и вором

Век свой доживу.

Тонет день за красными холмами,

Кличет на межу.

Не один я в этом свете шляюсь,

Не один брожу.

Размахнулось поле русских пашен,

То трава, то снег,

Все равно, литвин я иль чувашин,

Крест мой как у всех.

Верю я, как ликам чудотворным,

В мой потайный час.

Он придет бродягой подзаборным,

Нерушимый Спас.

Но, быть может, в синих клочьях дыма

Тайноводных рек

Я пройду его с улыбкой пьяной мимо,

Не узнав навек.

Не блеснет слеза в моих ресницах,

Не вспугнет мечту.

Только радость синей голубицей

Канет в темноту.

И опять, как раньше, с дикой злостью

Запоет тоска…

Пусть хоть ветер на моем погосте

Пляшет трепака.

<1917>

Преображение

Разумнику Иванову

1

Облаки лают,

Ревет златозубая высь…

Пою и взываю:

Господи, отедись!

Перед воротами в рай

Я стучусь;

Звездами спеленай

Телицу-Русь.

За тучи тянется моя рука,

Бурею шумит песнь.

Небесного молока

Даждь мне днесь.

Грозно гремит твой гром,

Чудится плеск крыл.

Новый Содом[62]

Сжигает Егудиил[63].

Но твердо, не глядя назад,

По ниве вод

Новый из красных врат

Выходит Лог.

2

Не потому ль в березовых

Кустах поет сверчок

О том, как ликом розовым

Окапал рожь восток;

О том, как богородица,

Накинув синий плат,

У облачной околицы

Скликает в рай телят.

С утра над осенни?цею

Я слышу зов трубы.

Теленькает синицею

Он про глагол судьбы.

«О, веруй, небо вспенится,

Как лай, сверкнет волна.

Над рощею ощенится

Златым щенком луна.

Иной травой и чащею

Отенит мир вода.

Малиновкой журчащею

Слетит в кусты звезда.

И выползет из колоса,

Как рой, пшеничный злак,

Чтобы пчелиным голосом

Озлатонивить мрак…»

3

Ей, россияне!

Ловцы вселенной,

Неводом зари зачерпнувшие небо, —

Трубите в трубы.

Под плугом бури

Ревет земля.

Рушит скалы златоклыкий

Омеж[64].

Новый сеятель

Бредет по полям,

Новые зерна

Бросает в борозды.

Светлый гость в колымаге к вам

Едет.

По тучам бежит

Кобылица.

Шлея на кобыле —

Синь.

Бубенцы на шлее —

Звезды.

4

Стихни, ветер,

Не лай, водяное стекло.

С небес через красные сети

Дождит молоко.

Мудростью пухнет слово,

Вязью колося поля.

Над тучами, как корова,

Хвост задрала заря.

Вижу тебя из окошка,

Зиждитель щедрый,

Ризою над землею

Свесивший небеса.

Ныне

Солнце, как кошка,

С небесной вербы

Лапкою золотою

Трогает мои волоса.

5

Зреет час преображенья,

Он сойдет, наш светлый гость,

Из распятого терпенья

Вынуть выржавленный гвоздь.

От утра и от полудня

Под поющий в небе гром,

Словно ведра, наши будни

Он наполнит молоком.

И от вечера до ночи,

Незакатный славя край,

Будет звездами пророчить

Среброзлачный урожай.

А когда над Волгой месяц

Склонит лик испить воды, —

Он, в ладью златую свесясь,

Уплывет в свои сады.

И из лона голубого,

Широко взмахнув веслом,

Как яйцо, нам сбросит слово

С проклевавшимся птенцом.

<1917>

«Нивы сжаты, рощи голы…»

Нивы сжаты, рощи голы,

От воды туман и сырость.

Колесом за сини горы

Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.

Ей сегодня примечталось,

Что совсем-совсем немного

Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой

Увидал вчера в тумане:

Рыжий месяц жеребенком

Запрягался в наши сани.

1917

«Я по первому снегу бреду…»

Я по первому снегу бреду,

В сердце ландыши вспыхнувших сил.

Вечер синею свечкой звезду

Над дорогой моей засветил.

Я не знаю, то свет или мрак?

В чаще ветер поет иль петух?

Может, вместо зимы на полях

Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!

Греет кровь мою легкий мороз!

Так и хочется к телу прижать

Обнаженные груди берез.

О, лесная, дремучая муть!

О, веселье оснеженных нив!..

Так и хочется руки сомкнуть

Над древесными бедрами ив.

<1917>

«О, верю, верю, счастье есть!..»

О, верю, верю, счастье есть!

Еще и солнце не погасло.

Заря молитвенником красным

Пророчит благостную весть.

О, верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, златая Русь,

Волнуйся, неуемный ветер!

Блажен, кто радостью отметил

Твою пастушескую грусть.

Звени, звени, златая Русь.

Люблю я ропот буйных вод

И на волне звезды сиянье.

Благословенное страданье,

Благословляющий народ.

Люблю я ропот буйных вод.

1917

«О муза, друг мой гибкий…»

О муза, друг мой гибкий,

Ревнивица моя.

Опять под дождик сыпкий

Мы вышли на поля.

Опять весенним гулом

Приветствует нас дол,

Младенцем завернула

Заря луну в подол.

Теперь бы песню ветра

И нежное баю —

За то, что ты окрепла,

За то, что праздник светлый

Влила ты в грудь мою.

Теперь бы брызнуть в небо

Вишневым соком стих

За отческую щедрость

Наставников твоих.

О, мед воспоминаний!

О, звон далеких лип!

Звездой нам пел в тумане

Разумниковский лик.

Тогда в веселом шуме

Игривых дум и сил

Апостол нежный Клюев

Нас на руках носил.

Теперь мы стали зрелей

И весом тяжелей…

Но не заглушит трелью

Тот праздник соловей.

И этот дождик шалый

Его не смоет в нас,

Чтоб звон твоей лампады

Под ветром не погас.

1917

«О, пашни, пашни, пашни»

О, пашни, пашни, пашни,

Коломенская грусть,

На сердце день вчерашний,

А в сердце светит Русь.

Как птицы, свищут версты

Из-под копыт коня.

И брызжет солнце горстью

Свой дождик на меня.

О, край разливов грозных

И тихих вешних сил,

Здесь по заре и звездам

Я школу проходил.

И мыслил и читал я

По библии ветров,

И пас со мной Исайя

Моих златых коров.

<1917–1918>

«Песни, песни, о чем вы кричите?..»

Песни, песни, о чем вы кричите?

Иль вам нечего больше дать?

Голубого покоя нити

Я учусь в мои кудри вплетать.

Я хочу быть тихим и строгим.

Я молчанью у звезд учусь.

Хорошо ивняком при дороге

Сторожить задремавшую Русь.

Хорошо в эту лунную осень

Бродить по траве одному

И сбирать на дороге колосья

В обнищалую душу-суму.

Но равнинная синь не лечит.

Песни, песни, иль вас не стряхнуть?..

Золотистой метелкой вечер

Расчищает мой ровный путь.

И так радостен мне над пущей

Замирающий в ветре крик:

«Будь же холоден ты, живущий,

Как осеннее золото лип».

<1917–1918>

Инония[65]

Пророку Иеремии[66]

1

Не устрашуся гибели,

Ни копий, ни стрел дождей, —

Так говорит по Библии

Пророк Есенин Сергей.

Время мое приспело,

Не страшен мне лязг кнута.

Тело, Христово тело,

Выплевываю изо рта.

Не хочу восприять спасения

Через муки его и крест:

Я иное постиг учение

Прободающих вечность звезд.

Я иное узрел пришествие —

Где не пляшет над правдой смерть.

Как овцу от поганой шерсти, я

Остригу голубую твердь.

Подыму свои руки к месяцу,

Раскушу его, как орех.

Не хочу я небес без лестницы,

Не хочу, чтобы падал снег.

Не хочу, чтоб умело хмуриться

На озерах зари лицо.

Я сегодня снесся, как курица,

Золотым словесным яйцом.

Я сегодня рукой упругою

Готов повернуть весь мир…

Грозовой расплескались вьюгою

От плечей моих восемь крыл.

2

Лай колоколов над Русью грозный —

Это плачут стены Кремля.

Ныне на пики звездные

Вздыбливаю тебя, земля!

Протянусь до незримого города,

Млечный прокушу покрав.

Даже богу я выщиплю бороду

Оскалом моих зубов.

Ухвачу его за гриву белую

И скажу ему голосом вьюг:

Я иным тебя, господи, сделаю,

Чтобы зрел мой словесный луг!

Проклинаю я дыхание Китежа[67]

И все лощины его дорог.

Я хочу, чтоб на бездонном вытяже

Мы воздвигли себе чертог.

Языком вылижу на иконах я

Лики мучеников и святых.

Обещаю вам град Инонию,

Где живет божество живых!

Плачь и рыдай, Московия!

Новый пришел Индикоплов[68].

Все молитвы в твоем часослове я

Проклюю моим клювом слов.

Уведу твой народ от упования,

Дам ему веру и мощь,

Чтобы плугом он в зори ранние

Распахивал с солнцем нощь.

Чтобы поле его словесное

Выращало ульями злак,

Чтобы зерна под крышей небесною

Озлащали, как пчелы, мрак.

Проклинаю тебя я, Радонеж[69],

Твои пятки и все следы!

Ты огня золотого залежи

Разрыхлял киркою воды.

Стая туч твоих, по-волчьи лающих,

Словно стая злющих волков,

Всех зовущих и всех дерзающих

Прободала копьем клыков.

Твое солнце когтистыми лапами

Прокогтялось в душу, как нож.

На реках вавилонских мы плакали,[70]

И кровавый мочил нас дождь.

Ныне ж бури воловьим голосом

Я кричу, сняв с Христа штаны:

Мойте руки свои и волосы

Из лоханки второй луны.

Говорю вам — вы все погибнете,

Всех задушит вас веры мох.

По-иному над нашей выгибью

Вспух незримой коровой бог.

И напрасно в пещеры селятся

Те, кому ненавистен рев.

Все равно — он иным отелится

Солнцем в наш русский кров.

Все равно — он спалит телением,

Что ковало реке брега.

Разгвоздят мировое кипение

Золотые его рога.

Новый сойдет Олипий[71]

Начертать его новый лик.

Говорю вам — весь воздух выпью

И кометой вытяну язык.

До Египта раскорячу ноги,

Раскую с вас подковы мук…

В оба полюса снежнорогие

Вопьюся клещами рук.

Коленом придавлю экватор

И, под бури и вихря плач,

Пополам нашу землю-матерь

Разломлю, как златой калач.

И в провал, отененный бездною,

Чтобы мир весь слышал тот треск,

Я главу свою власозвездную

Просуну, как солнечный блеск.

И четыре солнца из облачья,

Как четыре бочки с горы,

Золотые рассыпав обручи,

Скатясь, всколыхнут миры.

3

И тебе говорю, Америка,

Отколотая половина земли, —

Страшись по морям безверия

Железные пускать корабли!

Не отягивай чугунной радугой

Нив и гранитом — рек.

Только водью свободной Ладоги

Просверлит бытие человек!

Не вбивай руками синими

В пустошь потолок небес:

Не построить шляпками гвоздиными

Сияние далеких звезд.

Не залить огневого брожения

Лавой стальной руды.

Нового вознесения

Я оставлю на земле следы.

Пятками с облаков свесюсь,

Прокопытю тучи, как лось;

Колесами солнце и месяц

Надену на земную ось.

Говорю тебе — не пой молебствия

Проволочным твоим лучам.

Не осветят они пришествия,

Бегущего овцой но горам!

Сыщется в тебе стрелок еще

Пустить в его грудь стрелу.

Словно полымя, с белой шерсти его

Брызнет теплая кровь во мглу.

Звездами золотые копытца

Скатятся, взбороздив нощь.

И опять замелькает спицами

Над чулком ее черным дождь.

Возгремлю я тогда колесами

Солнца и луны, как гром;

Как пожар, размечу волосья

И лицо закрою крылом.

За уши встряхну я горы,

Копьями вытяну ковыль.

Все тыны твои, все заборы

Горстью смету, как пыль.

И вспашу я черные щеки

Нив твоих новой сохой;

Золотой пролетит сорокой

Урожай над твоей страной.

Новый он сбросит жителям

Крыл колосистых звон.

И, как жерди златые, вытянет

Солнце лучи на дол.

Новые вырастут сосны

На ладонях твоих полей.

И, как белки, желтые весны

Будут прыгать по сучьям дней.

Синие забрезжут реки,

Просверлив все преграды глыб.

И заря, опуская веки,

Будет звездных ловить в них рыб.

Говорю тебе — будет время,

Отплещут уста громов;

Прободят голубое темя

Колосья твоих хлебов.

И над миром с незримой лестницы,

Оглашая поля и луг,

Проклевавшись из сердца месяца,

Кукарекнув, взлетит петух.

4

По тучам иду, как по ниве, я,

Свесясь головою вниз.

Слышу плеск голубого ливня

И светил тонкоклювых свист.

В синих отражаюсь затонах

Далеких моих озер.

Вижу тебя, Миопия,

С золотыми шапками гор.

Вижу нивы твои и хаты,

На крылечке старушку-мать;

Пальцами луч заката

Старается она поймать.

Прищемит его у окошка,

Схватит на своем горбе, —

А солнышко, словно кошка,

Тянет клубок к себе.

И тихо под шепот речки,

Прибрежному эху в подол,

Каплями незримой свечки

Капает песня с гор:

«Слава в вышних богу

И на земле мир!

Месяц синим рогом

Тучи прободил.

Кто-то вывел гуся

Из яйца звезды —

Светлого Исуса

Проклевать следы.

Кто-то с новой верой,

Без креста и мук,

Натянул на небе

Радугу, как лук.

Радуйся, Сионе[72],

Проливай свой свет!

Новый в небосклоне

Вызрел Назарет.

Новый на кобыле

Едет к миру Спас.

Наша вера — в силе.

Наша правда — в нас!»

1918

Иорданская голубица[73]

1

Земля моя златая!

Осенний светлый храм!

Гусей крикливых стая

Несется к облакам.

То душ преображенных

Несчислимая рать,

С озер поднявшись сонных,

Летит в небесный сад.

А впереди их лебедь.

В глазах, как роща, грусть.

Не ты ль так плачешь в небе,

Отчалившая Русь?

Лети, лети, не бейся,

Всему есть час и брег.

Ветра стекают в песню,

А песня канет в век.

2

Небо — как колокол,

Месяц — язык,

Мать моя — родина,

Я — большевик.[74]

Ради вселенского

Братства людей

Радуюсь песней я

Смерти твоей.

Крепкий и сильный,

На гибель твою

В колокол синий

Я месяцем бью.

Братья миряне,

Вам моя песнь.

Слышу в тумане я

Светлую весть.

3

Вот она, вот голубица,

Севшая ветру на длань.

Снова зарею клубится

Мой луговой Иордань.

Славлю тебя, голубая,

Звездами вбитая высь.

Снова до отчего рая

Руки мои поднялись.

Вижу вас, злачные нивы,

С стадом буланых коней.

С дудкой пастушеской в ивах

Бродит апостол Андрей[75].

И, полная боли и гнева,

Там, на окрайне села,

Мати пречистая дева

Розгой стегает осла.

4

Братья мои, люди, люди!

Все мы, все когда-нибудь

В тех благих селеньях будем,

Где протоптан Млечный Путь.

Не жалейте же ушедших,

Уходящих каждый час, —

Там на ландышах расцветших

Лучше, чем в полях у нас.

Страж любви — судьба-мздоимец

Счастье пестует не век.

Кто сегодня был любимец —

Завтра нищий человек.

5

О новый, новый, новый,

Прорезавший тучи день!

Отроком солнцеголовым

Сядь ты ко мне под плетень.

Дай мне твои волосья

Гребнем луны расчесать.

Этим обычаем гостя

Мы научились встречать.

Древняя тень Маврикии[76]

Родственна нашим холмам,

Дождиком в нивы златые

Нас посетил Авраам.

Сядь ты ко мне на крылечко,

Тихо склонись ко плечу.

Синюю звездочку свечкой

Я пред тобой засвечу.

Буду тебе я молиться,

Славить твою Иордань…

Вот она, вот голубица,

Севшая ветру на длань.

20–23 июня 1918

Константиново

«Зеленая прическа…»

Л. И. Катиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?
Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?
Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил печальный
Твой предосенний шум.
И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.
Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.
И так, вдохнувши глубко,
Сказал под звон ветвей:
«Прощай, моя голубка,
До новых журавлей».
<1918>

«Серебристая дорога…»

Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда?
Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда.
Грусть ты или радость теплишь?

Иль к безумью правишь бег?

Помоги мне сердцем вешним

Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,

Ветку вербы на узду.

Может быть, к вратам господним

Сам себя я приведу.

<1918>

«Отвори мне, страж заоблачный…»

Отвори мне, страж заоблачный,

Голубые двери дня.

Белый ангел этой полночью

Моего увел коня.

Богу лишнего не надобно,

Конь мой — мощь моя и крепь.

Слышу я, как ржет он жалобно,

Закусив златую цепь.

Вижу, как он бьется, мечется,

Теребя тугой аркан,

И летит с него, как с месяца,

Шерсть буланая в туман.

<1918>

«Вот оно, глупое счастье…»

Вот оно, глупое счастье

С белыми окнами в сад!

Но пруду лебедем красным

Плавает тихий закат.

Здравствуй, златое затишье,

С тенью березы в воде!

Галочья стая на крыше

Служит вечерню звезде.

Где-то за садом несмело,

Там, где калина цветет,

Нежная девушка в белом

Нежную песню поет.

Стелется синею рясой

С поля ночной холодок.,

Глупое, милое счастье,

Свежая розовость щек!

1918

«Я покинул родимый дом…»

Я покинул родимый дом,

Голубую оставил Русь.

В три звезды березняк над прудом

Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна

Распласталась на тихой воде.

Словно яблонный цвет, седина

У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!

Долго петь и звенеть пурге.

Стережет голубую Русь

Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем

Тем, кто листьев целует дождь,

Оттого что тот старый клен

Головой на меня похож.

1918

«Закружилась листва золотая…»

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,

Близок сердцу желтеющий дол.

Отрок-ветер по самые плечи

Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,

Синий сумрак как стадо овец,

За калиткою смолкшего сада

Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо

Так не слушал разумную плоть,

Хорошо бы, как ветками ива,

Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,

Мордой месяца сено жевать…

Где ты, где, моя тихая радость —

Все любя, ничего не желать?

1918

«Теперь любовь моя не та…»

Клюеву

Теперь любовь моя не та.

Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь

О том, что лунная метла

Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,

Спадающей тебе на брови,

Ты сердце выпеснил избе,

Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,

Прошел, как прежде, мимо крова.

О друг, кому ж твои ключи

Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,

В окошко не увидеть рая.

Так мельница, крылом махая,

С земли не может улететь.

1918

Кантата[77]

Спите, любимые братья.

Снова родная земля

Неколебимые рати

Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,

Зарево красных зарниц…

Спите, любимые братья,

В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью

Стражем стоит у ворот…

Спите, любимые братья,

Мимо вас движется ратью

К зорям вселенским народ.

<1918>

Небесный барабанщик

Л. Н. Старку[78]

1

Гей вы, рабы, рабы!

Брюхом к земле прилипли вы.

Нынче луну с воды

Лошади выпили.[79]

Листьями звезды льются

В реки на наших полях.

Да здравствует революция

На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами,

Сеем пурговый свист.

Что нам слюна иконная

В наши ворота ввысь?

Нам ли страшны полководцы

Белого стада горилл?

Взвихренной конницей рвется

К новому берегу мир.

2

Если это солнце

В заговоре с ними, —

Мы его всей ратью

На штыках подымем.

Если этот месяц

Друг их черной силы, —

Мы его с лазури

Камнями в затылок.

Разметем все тучи,

Все дороги взмесим,

Бубенцом мы землю

К радуге привесим.

Ты звени, звени нам,

Мать-земля сырая,

О полях и рощах

Голубого края.

3

Солдаты, солдаты, солдаты —

Сверкающий бич над смерчом.

Кто хочет свободы и братства,

Тому умирать нипочем.

Смыкайтесь же тесной стеною.

Кому ненавистен туман,

Тот солнце корявой рукою

Сорвет на златой барабан.

Сорвет и пойдет по дорогам

Лить зов над озерами сил —

На тени церквей и острогов,

На белое стадо горилл.

В том зове калмык и татарин

Почуют свой чаемый град,

И черное небо хвостами,

Хвостами коров вспламенят.

4

Верьте, победа за нами!

Новый берег недалек.

Волны белыми когтями

Золотой скребут песок.

Скоро, скоро вал последний

Миллионом брызнет лун.

Сердце — свечка за обедней

Пасхе массы и коммун.

Ратью смуглой, ратью дружной

Мы идем сплотить весь мир.

Мы идем, и пылью вьюжной

Тает облако горилл.

Мы идем, а там, за чащей,

Сквозь белесость и туман

Наш небесный барабанщик

Лупит в солнце-барабан.

1918

«Хорошо под осеннюю свежесть…»

Хорошо под осеннюю свежесть

Душу-яблоню ветром стряхать

И смотреть, как над речкою режет

Воду синюю солнца соха.

Хорошо выбивать из тела

Накаляющий песни гвоздь.

И в одежде празднично белой

Ждать, когда постучится гость.

Я учусь, я учусь моим сердцем

Цвет черемух в глазах беречь,

Только в скупости чувства греются,

Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,

Что ни лист, то свеча заре.

Никого не впущу я в горницу,

Никому не открою дверь.

<1918–1919>

Пантократор[80]

1

Славь, мой стих, кто ревет и бесится,

Кто хоронит тоску в плече,

Лошадиную морду месяца

Схватить за узду лучей.

Тысчи лет те же звезды славятся,

Тем же медом струится плоть.

Не молиться тебе, а лаяться

Научил ты меня, господь.

За седины твои кудрявые,

За копейки с златых осин

Я кричу тебе: «К черту старое!»,

Непокорный, разбойный сын.

И за эти щедроты теплые,

Что сочишь ты дождями в муть,

О, какими, какими метлами

Это солнце с небес стряхнуть?

2

Там, за млечными холмами,

Средь небесных тополей,

Опрокинулся над нами

Среброструйный Водолей.

Он Медведицей с лазури —

Как из бочки черпаком.

В небо вспрыгнувшая буря

Села месяцу верхом.

В вихре снится сонм умерших,

Молоко дымящий сад,

Вижу, дед мой тянет вершей

Солнце с полдня на закат.

Отче, отче, ты ли внука

Услыхал в сей скорбный срок?

Знать, недаром в сердце мукал

Издыхающий телок.

3

Кружися, кружися, кружися,

Чекань твоих дней серебро!

Я понял, что солнце из выси —

В колодезь златое ведро.

С земли на незримую сушу

Отчалить и мне суждено.

Я сам положу мою душу

На это горящее дно.

Но знаю — другими очами

Умершие чуют живых.

О, дай нам с земными ключами

Предстать у ворот золотых.

Дай с нашей овсяною волей

Засовы чугунные сбить,

С разбега по ровному полю

Заре на закорки вскочить.

4

Сойди, явись нам, красный конь!

Впрягись в земли оглобли.

Нам горьким стало молоко

Под этой ветхой кровлей.

Пролей, пролей нам над водой

Твое глухое ржанье

И колокольчиком-звездой

Холодное сиянье.

Мы радугу тебе — дугой,

Полярный круг — на сбрую.

О, вывези наш шар земной

На колею иную.

Хвостом земле ты прицепись,

С зари отчалься гривой.

За эти тучи, эту высь

Скачи к стране счастливой.

И пусть они, те, кто во мгле

Нас пьют лампадой в небе,

Увидят со своих полей,

Что мы к ним в гости едем.

<1919>

«Душа грустит о небесах…»

Душа грустит о небесах,

Она нездешних нив жилица.

Люблю, когда на деревах

Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов,

Как свечи, теплятся пред тайной,

И расцветают звезды слов

На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол,

Но не стряхну я муку эту,

Как отразивший в водах дол

Вдруг в небе ставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами

В хребты их пьющую луну…

О, если б прорасти глазами,

Как эти листья, в глубину.

1919

«Ветры, ветры, о снежные ветры…»

Ветры, ветры, о снежные ветры,

Заметите мою прошлую жизнь.

Я хочу быть отроком светлым

Иль цветком с луговой межи.

Я хочу под гудок пастуший

Умереть для себя и для всех.

Колокольчики звездные в уши

Насыпает вечерний снег.

Хороша бестуманная трель его,

Когда топит он боль в пурге.

Я хотел бы стоять, как дерево,

При дороге на одной ноге.

Я хотел бы под конские храпы

Обниматься с соседним кустом.

Подымайте ж вы, лунные лапы,

Мою грусть в небеса ведром.

<1919>

«Я последний поэт деревни…»

Мариенгофу[81]

Я последний поэт деревни,

Скромен в песнях дощатый мост.

За прощальной стою обедней

Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем

Из телесного воска свеча,

И луны часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля

Скоро выйдет железный гость.

Злак овсяный, зарею пролитый,

Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,

Этим песням при вас не жить!

Только будут колосья-кони

О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,

Панихидный справляя пляс.

Скоро, скоро часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый час!

<1920>

«По-осеннему кычет сова…»

По-осеннему кычет сова

Над раздольем дорожной рани.

Облетает моя голова,

Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,

Здравствуй, мать голубая осина!

Скоро месяц, купаясь в снегу,

Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть.

Звоном звезд насыпая уши.

Без меня будут юноши петь,

Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,

В новом лес огласится свисте.

По-осеннему сыплет ветр.

По-осеннему шепчут листья.

<1920>

Хулиган

Дождик мокрыми метлами чистит

Ивняковый помет по лугам.

Плюйся, ветер, охапками листьев, —

Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,

Как с тяжелой походкой волы,

Животами, листвой хрипящими,

По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжее!

Кто ж воспеть его лучше мог?

Вижу, вижу, как сумерки лижут

Следы человечьих ног.

Русь моя, деревянная Русь!

Я один твой певец и глашатай.

Звериных стихов моих грусть

Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин

Зачерпнуть молока берез!

Словно хочет кого придушить

Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,

Злобу вора струит в наш сад,

Только сам я разбойник и хам

И по крови степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит

Кипяченых черемух рать?

Мне бы в ночь в голубой степи

Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,

Засосал меня песенный плен.

Осужден я на каторге чувств

Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветр,

Плюй спокойно листвой по лугам.

Не сотрет меня кличка «поэт»,

Я и в песнях, как ты, хулиган.

<1920>

Сорокоуст[82]

А. Мариенгофу

1

Трубит, трубит погибельный рог!

Как же быть, как же быть теперь нам

На измызганных ляжках дорог?

Вы, любители песенных блох,

Не хотите ль. .

Полно кротостью мордищ праздниться,

Любо ль, не любо ль — знай бери.

Хорошо, когда сумерки дразнятся

И всыпают нам в толстые задницы

Окровавленный веник зари.

Скоро заморозь известью выбелит

Тот поселок и эти луга.

Никуда вам не скрыться от гибели,

Никуда не уйти от врага.

Вот он, вот он с железным брюхом,

Тянет к глоткам равнин пятерню,

Водит старая мельница ухом,

Навострив мукомольный нюх.

И дворовый молчальник бык,

Что весь мозг свой на телок пролил,

Вытирая о прясло язык,

Почуял беду над полем.

2

Ах, не с того ли за селом

Так плачет жалостно гармоника:

Таля-ля-ля, тили-ли-гом

Висит над белым подоконником.

И желтый ветер осенницы

Не потому ль, синь рябью тронув,

Как будто бы с коней скребницей,

Очесывает листья с кленов.

Идет, идет он, страшный вестник,

Пятой громоздкой чащи ломит.

И все сильней тоскуют песни

Под лягушиный писк в соломе.

О, электрический восход.

Ремней и труб глухая хватка,

Се изб древенчатый живот

Трясет стальная лихорадка!

3

Видели ли вы,

Как бежит по степям,

В туманах озерных кроясь,

Железной ноздрей храпя,

На лапах чугунных поезд?

А за ним

По большой траве,

Как на празднике отчаянных гонок,

Тонкие ноги закидывая к голове,

Скачет красногривый жеребенок[83]?

Милый, милый, смешной дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых копей

Победила стальная конница?

Неужель он не знает, что в полях бессиянных

Той поры не вернет его бег,

Когда пару красивых степных россиянок

Отдавал за коня печенег?

По-иному судьба на торгах перекрасила

Наш разбуженный скрежетом плес,

И за тысчи пудов конской кожи и мяса

Покупают теперь паровоз.

4

Черт бы взял тебя, скверный гость!

Наша песня с тобой не сживется.

Жаль, что в детстве тебя не пришлось

Утопить, как ведро в колодце.

Хорошо им стоять и смотреть,

Красить рты в жестяных поцелуях, —

Только мне, как псаломщику, петь

Над родимой страной аллилуйя.

Оттого-то в сентябрьскую склень

На сухой и холодный суглинок,

Головой размозжась о плетень,

Облилась кровью ягод рябина.

Оттого-то вросла тужиль

В переборы тальянки звонкой.

И соломой пропахший мужик

Захлебнулся лихой самогонкой.

1920

Исповедь хулигана

Не каждый умеет петь,

Не каждому дано яблоком

Падать к чужим ногам.

Сие есть самая великая исповедь.

Которой исповедуется хулиган.

Я нарочно иду нечесаным,

С головой, как керосиновая лампа, на плечах»

Ваших душ безлиственную осень

Мне нравится в потемках освещать.

Мне нравится, когда каменья браня

Летят в меня, как град рыгающей грозы,

Я только крепче жму тогда руками

Моих волос качнувшийся пузырь.

Так хорошо тогда мне вспоминать

Заросший пруд и хриплый звон ольхи,

Что где-то у меня живут отец и мать,

Которым наплевать на все мои стихи,

Которым дорог я, как поле и как плоть,

Как дождик, что весной взрыхляет зеленя.

Они бы вилами пришли вас заколоть

За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Бедные, бедные крестьяне!

Вы, наверно, стали некрасивыми,

Так же боитесь бога и болотных недр.

О, если б вы понимали,

Что сын ваш в России

Самый лучший поэт!

Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,

Когда босые ноги он в лужах осенних макал?

А теперь он ходит в цилиндре

И лакированных башмаках.

Но живет в нем задор прежней вправки

Деревенского озорника.

Каждой корове с вывески мясной лавки

Он кланяется издалека.

И, встречаясь с извозчиками на площади,

Вспоминая запах навоза с родных полей,

Он готов нести хвост каждой лошади,

Как венчального платья шлейф.

Я люблю родину.

Я очень люблю родину!

Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.

Приятны мне свиней испачканные морды

И в тишине ночной звенящий голос жаб.

Я нежно болен вспоминаньем детства,

Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.

Как будто бы на корточки погреться

Присел наш клен перед костром зари.

О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,

Карабкаясь по сучьям, воровал!

Все тот же ль он теперь, с верхушкою зеленой?

По-прежнему ль крепка его кора?

А ты, любимый,

Верный пегий пес?!

От старости ты стал визглив и слеп

И бродишь по двору, влача обвисший хвост,

Забыв чутьем, где двери и где хлев.

О, как мне дороги все те проказы,

Когда, у матери стянув краюху хлеба,

Кусали мы с тобой ее по разу,

Ни капельки друг другом не погребав.

Я все такой же.

Сердцем я все такой же.

Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.

Стеля стихов злаченые рогожи,

Мне хочется вам нежное сказать.

Спокойной ночи!

Всем вам спокойной ночи!

Отзвенела по траве сумерек зари коса…

Мне сегодня хочется очень

Из окошка луну. .

Синий свет, свет такой синий!

В эту синь даже умереть не жаль.

Ну так что ж, что кажусь я циником,

Прицепившим к заднице фонарь!

Старый, добрый, заезженный Пегас,

Мне ль нужна твоя мягкая рысь?

Я пришел, как суровый мастер,

Воспеть и прославить крыс.

Башка моя, словно август,

Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом

В ту страну, куда мы плывем.

1920

Песнь о хлебе

Вот она, суровая жестокость,

Где весь смысл — страдания людей!

Режет серп тяжелые колосья,

Как под горло режут лебедей.

Наше поле издавна знакомо

С августовской дрожью поутру.

Перевязана в снопы солома,

Каждый сноп лежит, как желтый труп.

На телегах, как на катафалках,

Их везут в могильный склеп — овин.

Словно дьякон, на кобылу гаркнув.

Чтит возница погребальный чин.

А потом их бережно, без злости,

Головами стелют по земле

И цепами маленькие кости

Выбивают из худых телес.

Никому и в голову не встанет,

Что солома — это тоже плоть!..

Людоедке-мельнице — зубами

В рот суют те кости обмолоть.

И, из мелева заквашивая тесто,

Выпекают груды вкусных яств…

Вот тогда-то входит яд белесый

В жбан желудка яйца злобы класть.

Все побои ржи в припек окрасив,

Грубость жнущих сжав в духмяный сок,

Он вкушающим соломенное мясо

Отравляет жернова кишок.

И свистят по всей стране, как осень,

Шарлатан, убийца и злодей…

Оттого что режет серп колосья,

Как под горло режут лебедей.

<1921>

«Мир таинственный, мир мой древний…»

Мир таинственный, мир мой древний,

Ты, как ветер, затих и присел.

Вот сдавили за шею деревню

Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель

Заметалась звенящая жуть.

Здравствуй ты, моя черная гибель,

Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город! ты в схватке жестокой

Окрестил нас как падаль и мразь.

Стынет поле в тоске волоокой,

Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи,

И легка ей чугунная гать.

Ну, да что же? Ведь нам не впервые

И расшатываться и пропадать.

Пусть для сердца тягуче колко,

Это песня звериных прав!..

…Так охотники травят волка,

Зажимая в тиски облав.

Зверь припал… и из пасмурных недр

Кто-то спустит сейчас курки…

Вдруг прыжок… и двуногого недруга

Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!

Ты не даром даешься ножу.

Как и ты — я, отвсюду гонимый,

Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,

И хоть слышу победный рожок,

Но отпробует вражеской крови

Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель

Упаду и зароюсь в снегу…

Все же песню отмщенья за гибель

Пропоют мне на том берегу.

1921

«Сторона ль ты моя, сторона!..»

Сторона ль ты моя, сторона!

Дождевое, осеннее олово.

В черной луже продрогший фонарь

Отражает безгубую голову.

Нет, уж лучше мне не смотреть,

Чтобы вдруг не увидеть хужего.

Я на всю эту ржавую мреть

Буду щурить глаза и суживать.

Так немного теплей и безбольней,

Посмотри: меж скелетов домов,

Словно мельник, несет колокольня

Медные мешки колоколов.

Если голоден ты — будешь сытым.

Коль несчастен — то весел и рад.

Только лишь не гляди открыто,

Мой земной неизвестный брат.

Как подумал я — так и сделал,

Но увы! Все одно и то ж!

Видно, слишком привыкло тело

Ощущать эту стужу и дрожь.

Ну, да что же? Ведь много прочих,

Не один я в миру живой!

А фонарь то мигнет, то захохочет

Безгубой своей головой.

Только сердце под ветхой одеждой

Шепчет мне, посетившему твердь:

«Друг мой, друг мой, прозревшие вежды

Закрывает одна лишь смерть».

1921

«Не жалею, не зову, не плачу…»

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

1921

«Все живое особой метой…»

Все живое особой метой

Отмечается с ранних пор.

Если не был бы я поэтом,

То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,

Средь мальчишек всегда герой,

Часто, часто с разбитым носом

Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме

Я цедил сквозь кровавый рот:

«Ничего! Я споткнулся о камень,

Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла

Этих дней кипятковая вязь,

Беспокойная, дерзкая сила

На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная груда,

И над каждой строкой без конца

Отражается прежняя удаль

Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,

Только новью мой брызжет шаг…

Если раньше мне били в морду,

То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,

А в чужой и хохочущий сброд:

«Ничего! Я споткнулся о камень,

Это к завтраму все заживет!»

<1922>

«Не ругайтесь. Такое дело!..»

Не ругайтесь. Такое дело!

Не торговец я на слова.

Запрокинулась и отяжелела

Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,

Как же смог я ее донести?

Брошу все. Отпущу себе бороду

И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,

Перекину за плечи суму,

Оттого что в полях забулдыге

Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком

И, тревожа вечернюю гладь,

Буду громко сморкаться в руку

И во всем дурака валять.

И не нужно мне лучшей удачи,

Лишь забыться и слушать пургу,

Оттого что без этих чудачеств

Я прожить на земле не могу.

1922

«Я обманывать себя не стану…»

Я обманывать себя не стану,

Залегла забота в сердце мглистом.

Отчего прослыл я шарлатаном?

Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,

Не расстреливал несчастных по темницам.

Я всего лишь уличный повеса,

Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.

По всему тверскому околотку

В переулках каждая собака

Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь

Головой кивает мне навстречу.

Для зверей приятель я хороший,

Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —

В глупой страсти сердце жить не в силе, —

В нем удобней, грусть свою уменьшив,

Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,

Я иному покорился царству.

Каждому здесь кобелю на шею

Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.

Прояснилась омуть в сердце мглистом.

Оттого прослыл я шарлатаном,

Оттого прослыл я скандалистом.

1922

«Да! Теперь решено. Без возврата…»[84]

Да! Теперь решено. Без возврата

Я покинул родные поля.

Уж не будут листвою крылатой

Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне бог.

Я люблю этот город вязевый,

Пусть обрюзг он и пусть одрях.

Золотая дремотная Азия

Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,

Когда светит… черт знает как!

Я иду, головою свесясь,

Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,

Но всю ночь напролет, до зари,

Я читаю стихи проституткам

И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,

И уж я говорю невпопад:

«Я такой же, как вы, пропащий,

Мне теперь не уйти назад».

Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне бог.

1922

«Пой же, пой. На проклятой гитаре…»

Пой же, пой. На проклятой гитаре

Пальцы пляшут твои в полукруг.

Захлебнуться бы в этом угаре,

Мой последний, единственный друг.

Не гляди на ее запястья

И с плечей ее льющийся шелк.

Я искал в этой женщине счастья,

А нечаянно гибель нашел.

Я не знал, что любовь — зараза,

Я не знал, что любовь — чума.

Подошла и прищуренным глазом

Хулигана свела с ума.

Пой, мой друг. Навевай мне снова

Нашу прежнюю буйную рань.

Пусть целует она другова,

Молодая красивая дрянь.

Ах, постой. Я ее не ругаю.

Ах, постой. Я ее не кляну,

Дай тебе про себя я сыграю

Под басовую эту струну

Льется дней моих розовый купол.

В сердце снов золотых сума.

Много девушек я перещупал,

Много женщин в углах прижимал.

Да! есть горькая правда земли,

Подсмотрел я ребяческим оком:

Лижут в очередь кобели

Истекающую суку соком.

Так чего ж мне ее ревновать.

Так чего ж мне болеть такому.

Наша жизнь — простыня да кровать.

Наша жизнь — поцелуй да в омут.

Пой же, пой! В роковом размахе

Этих рук роковая беда.

Только знаешь, пошли их…

Не умру я, мой друг, никогда.

<1922>

«Эта улица мне знакома…»

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.
Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.
Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.
Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.
Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.
Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?
Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.
Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.
Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе — полевая солома,

Мир тебе — деревянный дом!

<1923>

«Я усталым таким еще не был…»

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.
Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.
Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервь!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья червь?
Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.
Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы,
Ничего не хочу вернуть.
Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца…
И теперь даже стало не тяжко
Ковылять из притона в притон,
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.
И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.
В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве,—

Шлю привет воробьям, и воронам,

И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:

«Птицы милые, в синюю дрожь

Передайте, что я отскандалил, —

Пусть хоть ветер теперь начинает

Под микитки дубасить рожь».

<1923>

«Мне осталась одна забава…»

Мне осталась одна забава:

Пальцы в рот — и веселый свист.

Прокатилась дурная слава,

Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!

Много в жизни смешных потерь.

Стыдно мне, что я в бога верил.

Горько мне, что не верю теперь.

Золотые далекие дали!

Все сжигает житейская мреть.

И похабничал я и скандалил

Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать,

Роковая на нем печать.

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись

Эти помыслы розовых дней.

Но коль черти в душе гнездились —

Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

<1923>

«Заметался пожар голубой…»[85]

Заметался пожар голубой,

Позабылись родимые дали.

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь — как запущенный сад,

Был на женщин и зелие падкий.

Разонравилось пить и плясать

И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,

Видеть глаз злато-карий омут,

И чтоб, прошлое не любя,

Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,

Если б знала ты сердцем упорным,

Как умеет любить хулиган,

Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки

И стихи бы писать забросил,

Только б тонко касаться руки

И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой

Хоть в свои, хоть в чужие дали…

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.

1923

«Ты такая ж простая, как все…»

Ты такая ж простая, как все,

Как сто тысяч других в России.

Знаешь ты одинокий рассвет,

Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,

Я по-глупому мысли занял.

Твой иконный и строгий лик

По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,

Чтил я грубость и крик в повесе,

А теперь вдруг растут слова

Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,

Слишком многое телу надо.

Что ж так имя твое звенит,

Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал

И умею расслышать за пылом:

С детства нравиться я понимал

Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег

Для тебя, для нее и для этой.

Невеселого счастья залог —

Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,

Словно в листья, в глаза косые…

Ты такая ж простая, как все,

Как сто тысяч других в России.

1923

«Пускай ты выпита другим…»

Пускай ты выпита другим,

Но мне осталось, мне осталось

Твоих волос стеклянный дым

И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне

Дороже юности и лета.

Ты стала нравиться вдвойне

Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу,

И потому на голос чванства

Бестрепетно сказать могу,

Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной

И непокорною отвагой.

Уж сердце напилось иной,

Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал

Сентябрь багряной веткой ивы,

Чтоб я готов был и встречал

Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь

Без принужденья, без утраты.

Иною кажется мне Русь,

Иными — кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг

И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,

Что ты одна, сестра и друг,

Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,

Воспитываясь в постоянстве,

Пропеть о сумерках дорог

И уходящем хулиганстве.

1923

«Дорогая, сядем рядом…»

Дорогая, сядем рядом,

Поглядим в глаза друг другу.

Я хочу под кротким взглядом

Слушать чувственную вьюгу.

Это золото осеннее,

Эта прядь волос белесых —

Все явилось, как спасенье

Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,

Где цветут луга и чащи.

В городской и горькой славе

Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше

Вспоминало сад и лето,

Где под музыку лягушек

Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень…

Клен и липы в окна комнат,

Ветки лапами забросив,

Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.

Месяц на простом погосте

На крестах лучами метит,

Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,

Перейдем под эти кущи.

Все волнистые дороги

Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,

Поглядим в глаза друг другу.

Я хочу под кротким взглядом

Слушать чувственную вьюгу.

1923

«Мне грустно на тебя смотреть…»

Мне грустно на тебя смотреть,

Какая боль, какая жалость!

Знать, только ивовая медь

Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли

Твое тепло и трепет тела.

Как будто дождик моросит

С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.

Иная радость мне открылась.

Ведь не осталось ничего,

Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег

Для тихой жизни, для улыбок.

Так мало пройдено дорог,

Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.

Так было и так будет после.

Как кладбище, усеян сад

В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы

И отшумим, как гости сада…

Коль нет цветов среди зимы,

Так и грустить о них не надо.

1923

«Ты прохладой меня не мучай»

Ты прохладой меня не мучай

И не спрашивай, сколько мне лет,

Одержимый тяжелой падучей,

Я душой стал, как желтый скелет.

Было время, когда из предместья

Я мечтал по-мальчишески — в дым,

Что я буду богат и известен

И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком.

Был цилиндр, а теперь его нет.

Лишь осталась одна манишка

С модной парой избитых штиблет.

И известность моя не хуже, —

От Москвы по парижскую рвань

Мое имя наводит ужас,

Как заборная, громкая брань.

И любовь, не забавное ль дело?

Ты целуешь, а губы как жесть.

Знаю, чувство мое перезрело,

А твое не сумеет расцвесть.

Мне пока горевать еще рано,

Ну, а если есть грусть — не беда!

Золотей твоих кое по курганам

Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,

Чтоб под шум молодой лебеды

Утонуть навсегда в неизвестность

И мечтать по-мальчишески — в дым.

Но мечтать о другом, о новом,

Непонятном земле и траве,

Что не выразить сердцу словом

И не знает назвать человек.

1923

«Вечер черные брови насопил…»

Вечер черные брови насопил.

Чьи-то кони стоят у двора.

Не вчера ли я молодость пропил?

Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка!

Наша жизнь пронеслась без следа.

Может, завтра больничная койка

Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому

Я уйду, исцеленный навек,

Слушать песни дождей и черемух,

Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,

Что терзали меня, губя.

Облик ласковый! Облик милый!

Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,

Но и с нею, с любимой, с другой,

Расскажу про тебя, дорогую,

Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла былая

Наша жизнь, что былой не была…

Голова ль ты моя удалая,

До чего ж ты меня довела?

1923

«Годы молодые с забубенной славой»

Годы молодые с забубенной славой,

Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,

Были синие глаза, да теперь поблекли.

Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.

В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну — и вот слушаю на ощупь:

Едем… кони… сани… снег… проезжаем рощу.

«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым!

Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».

А ямщик в ответ одно: «По такой метели

Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!»

Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.

Вдруг толчок… и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки…

Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей по дороге тряской

Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.

Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,

Отравил ты сам себя горькою отравой.

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли, —

Синие твои глаза в кабаках промокли».

<1924>

Письмо матери

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто ходишь на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке

Часто видится одно и то ж:

Будто кто-то мне в кабацкой драке

Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.

Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
<1924>

«Мы теперь уходим понемногу…»[86]

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,

Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,

Много песен про себя сложил,

И на этой на земле угрюмой

Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве

И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,

Не звенит лебяжьей шеей рожь.

Оттого пред сонмом уходящих

Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет

Этих нив, златящихся во мгле.

Оттого и дороги мне люди,

Что живут со мною на земле.

1924

Пушкину[87]

Мечтая о могучем даре

Того, кто русской стал судьбой,

Стою я на Тверском бульваре,

Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,

В легендах ставший как туман,

О Александр! Ты был повеса,

Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы

Не затемнили образ твой,

И в бронзе выкованной славы

Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,

И говорю в ответ тебе:

Я умер бы сейчас от счастья,

Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,

Еще я долго буду петь…

Чтоб и мое степное пенье

Сумело бронзой прозвенеть.

<1924>

Возвращение на родину[88]

Я посетил родимые места,

Ту сельщину,

Где жил мальчишкой,

Где каланчой с березовою вышкой

Взметнулась колокольня без креста.

Как много изменилось там,

В их бедном, неприглядном быте.

Какое множество открытий

За мною следовало по пятам.

Отцовский дом

Не мог я распознать[89]:

Приметный клен уж под окном не машет,

И на крылечке не сидит уж мать[90],

Кормя цыплят крупитчатою кашей.

Стара, должно быть, стала…

Да, стара.

Я с грустью озираюсь на окрестность:

Какая незнакомая мне местность!

Одна, как прежняя, белеется гора,

Да у горы

Высокий серый камень.

Здесь кладбище!

Подгнившие кресты,

Как будто в рукопашной мертвецы

Застыли с распростертыми руками.

По тропке, опершись на подожок,

Идет старик, сметая пыль с бурьяна.

«Прохожий!

Укажи, дружок,

Где тут живет Есенина Татьяна?»

«Татьяна… Гм…

Да вон за той избой.

А ты ей что?

Сродни?

Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.

Но что, старик, с тобой?

Скажи мне,

Отчего ты так глядишь скорбяще?»

«Добро, мой внук,

Добро, что не узнал ты деда!..»

«Ах, дедушка, ужели это ты?»

И полилась печальная беседа

Слезами теплыми на пыльные цветы.

…….. ..

«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать…

А мне уж девяносто…

Скоро в гроб.

Давно пора бы было воротиться».

Он говорит, а сам все морщит лоб.

«Да!.. Время!..

Ты не коммунист?»

«Нет!..»

«А сестры стали комсомолки.

Такая гадость! Просто удавись!

Вчера иконы выбросили с полки,

На церкви комиссар снял крест.

Теперь и богу негде помолиться.

Уж я хожу украдкой нынче в лес,

Молюсь осинам…

Может, пригодится…

Пойдем домой —

Ты все увидишь сам».

И мы идем, топча межой кукольни.

Я улыбаюсь пашням и лесам,

А дед с тоской глядит на колокольню.

…….. .

…….. .

«Здорово, мать! Здорово!» —

И я опять тяну к глазам платок.

Тут разрыдаться может и корова,

Глядя на этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.

Здесь жизнь сестер,

Сестер, а не моя,—

Но все ж готов упасть я на колени,

Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи…

Женщина с ребенком.

Уже никто меня не узнает.

По-байроновски наша собачонка

Меня встречала с лаем у ворот.[91]

Ах, милый край!

Не тот ты стал,

Не тот.

Да уж и я, конечно, стал не прежний.

Чем мать и дед грустней и безнадежней,

Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,

Я знаю мир…

Люблю мою семью…

Но отчего-то все-таки с поклоном

Сажусь на деревянную скамью.

«Ну, говори, сестра!»

И вот сестра разводит,

Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,

О Марксе,

Энгельсе…

Ни при какой погоде

Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,

Как шустрая девчонка

Меня во всем за шиворот берет…

…….. .

…….. .

По-байроновски наша собачонка

Меня встречала с лаем у ворот.

1924

Русь советсткая

А. Сахарову[92]

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.
Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слои дорожной пыли.
А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.
Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.

Они, пожалуй, будут интересней —

Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.

На щеки впалые летит сухой румянец.

Язык сограждан стал мне как чужой,

В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:

Воскресные сельчане

У волости, как в церковь, собрались.

Корявыми, немытыми речами

Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой

Закат обрызгал серые поля.

И ноги босые, как телки под ворота,

Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,

В воспоминаниях морщиня лоб,

Рассказывает важно о Буденном,

О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его — и этак и раз-этак, —

Буржуя энтого… которого… в Крыму…»

И клены морщатся ушами длинных веток,

И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,

И под гармонику, наяривая рьяно,

Поют агитки Бедного Демьяна,

Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!

Какого ж я рожна

Орал в стихах, что я с народом дружен?

Моя поэзия здесь больше не нужна,

Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж!

Прости, родной приют.

Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен.

Пускай меня сегодня не поют —

Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все.

Как есть все принимаю.

Готов идти по выбитым следам.

Отдам всю душу октябрю и маю,

Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,

Ни матери, ни другу, ни жене.

Лишь только мне она свои вверяла звуки

И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!

У вас иная жизнь, у вас другой напев.

А я пойду один к неведомым пределам,

Душой бунтующей навеки присмирев.

Но и тогда,

Когда во всей планете

Пройдет вражда племен,

Исчезнет ложь и грусть, —

Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким «Русь».

1924

«Этой грусти теперь не рассыпать…»[93]

Этой грусти теперь не рассыпать

Звонким смехом далеких лет.

Отцвела моя белая липа,

Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было все тогда новым,

Много в сердце теснилось чувств,

А теперь даже нежное слово

Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы

Уж не так под луной хороши.

Буераки… пеньки… косогоры

Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое,

Водянистая, серая гладь.

Это все мне родное и близкое,

От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избенка,

Плач овцы, и вдали на ветру

Машет тощим хвостом лошаденка,

Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,

Это все, отчего на ней

Пьют и плачут в одно с непогодиной,

Дожидаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать

Эту грусть смехом ранних лет.

Отцвела моя белая липа,

Отзвенел соловьиный рассвет.

<1924>

«Издатель славный! В этой книге…»[94]

Издатель славный! В этой книге

Я новым чувствам предаюсь,

Учусь постигнуть в каждом миге

Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело

Шептал бумаге карандаш,

Душа спросонок хрипло пела,

Не понимая праздник наш.

Но ты видением поэта

Прочтешь не в буквах, а в другом,

Что в той стране, где власть Советов,

Не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый,

Меня насмешке не предашь, —

Лишь потому так неумело

Шептал бумаге карандаш.

<1924>

«Низкий дом с голубыми ставнями…»

Низкий дом с голубыми ставнями,

Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые серењким ситцем
Этих северных бедных небес.
Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.
Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.
Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.
Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевењким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.
Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года…
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.
<1924>

Сукин сын
Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.
Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,

Но она мне как песня была,

Потому что мои записки

Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,

И мой почерк ей был незнаком,

Но о чем-то подолгу мечтала

У калины за желтым прудом.

Я страдал… Я хотел ответа…

Не дождался… уехал… И вот

Через годы… известным поэтом

Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,

Но в ту ж масть, что с отливом в синь,

С лаем ливисто ошалелым

Меня ветрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!

Снова выплыла боль души.

С этой болью я будто моложе,

И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,

Но не лай ты! Не лай! Не лай!

Хочешь, пес, я тебя поцелую

За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом

И, как друга, введу тебя в дом…

Да, мне нравилась девушка в белом,

Но теперь я люблю в голубом.

<1924>

«Отговорила роща золотая…»

Отговорила роща золотая

Березовым, веселым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.

О всех ушедших грезит конопляник

С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,

А журавлей относит ветер вдаль,

Я полон дум о юности веселой,

Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

В саду горит костер рябины красной,

Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,

От желтизны не пропадет трава,

Как дерево роняет тихо листья,

Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,

Сгребет их все в один ненужный ком…

Скажите так… что роща золотая

Отговорила милым языком.

<1924>

На Кавказе[95]

Издревле русский наш Парнас

Тянуло к незнакомым странам,

И больше всех лишь ты, Кавказ,

Звенел загадочным туманом.

Здесь Пушкин в чувственном огне

Слагал душой своей опальной:

«Не пой, красавица, при мне

Ты песен Грузии печальной».

И Лермонтов, тоску леча,

Нам рассказал про Азамата,

Как он за лошадь Казбича

Давал сестру заместо злата.

За грусть и желчь в своем лице

Кипенья желтых рек достоин,

Он, как поэт и офицер,

Был пулей друга успокоен.

И Грибоедов здесь зарыт,[96]

Как наша дань персидской хмари,

В подножии большой горы

Он спит под плач зурны и тари.

А ныне я в свою безгладь

Пришел, не ведая причины:

Родной ли прах здесь обрыдать

Иль посмотреть свой час кончины!

Мне все равно! Я полон дум

О них, ушедших и великих.

Их исцелял гортанный шум

Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов

И от друзей сюда бежали,

Чтоб только слышать звон шагов

Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед

Бежал, навек простясь с богемой,

Зане созрел во мне поэт

С большой эпическою темой.

Мне мил стихов российский жар.

Есть Маяковский, есть и кроме,

Но он, их главный штабс-маляр,

Поет о пробках в Моссельпроме.[97]

И Клюев, ладожский дьячок,[98]

Его стихи как телогрейка,

Но я их вслух вчера прочел —

И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,

Они под хладным солнцем зреют.

Бумаги даже замарать

И то, как надо, не умеют.

Прости, Кавказ, что я о них

Тебе промолвил ненароком,

Ты научи мой русский стих

Кизиловым струиться соком.

Чтоб, воротясь опять в Москву,

Я мог прекраснейшей поэмой

Забыть ненужную тоску

И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране

Я мог твердить в свой час прощальный:

«Не пой, красавица, при мне

Ты песен Грузии печальной».

1924

Баллада о двадцати шести[99]

С любовью —

прекрасному художнику

Г. Якулову

Пой песню, поэт,

Пой.

Ситец неба такой

Голубой.

Море тоже рокочет

Песнь.

Их было

26.

26 их было,

26.

Их могилы пескам

Не занесть.

Не забудет никто

Их расстрел

На 207-ой

Версте.

Там за морем гуляет

Туман.

Видишь, встал из песка

Шаумян.

Над пустыней костлявый

Стук.

Вон еще 50

Рук

Вылезают, стирая

Плеснь.

26 их было,

26.

Кто с прострелом в груди,

Кто в боку,

Говорят:

«Нам пора в Баку —

Мы посмотрим,

Пока есть туман,

Как живет

Азербайджан».

……..

……..

Ночь, как дыню,

Катит луну.

Море в берег

Струит волну.

Вот в такую же ночь

И туман

Расстрелял их

Отряд англичан.

Коммунизм —

Знамя всех свобод.

Ураганом вскипел

Народ.

На империю встали

В ряд

И крестьянин

И пролетариат.

Там, в России,

Дворянский бич

Был наш строгий отец

Ильич.

А на Востоке

Здесь

Их было

26.

Все помнят, конечно,

Тот,

18-ый, несчастный

Год.

Тогда буржуа

Всех стран

Обстреливали

Азербайджан.

Тяжел был Коммуне

Удар.

Не вынес сей край

И пал,

Но жутче всем было

Весть

Услышать

Про 26.

В пески, что как плавленый

Воск,

Свезли их

За Красноводск.

И кто саблей,

Кто пулей в бок,

Всех сложили на желтый

Песок.

26 их было,

26.

Их могилы пескам

Не занесть,

Не забудет никто

Их расстрел

На 207-ой

Версте.

Там за морем гуляет

Туман.

Видишь, встал из песка

Шаумян.

Над пустыней костлявый

Стук.

Вон еще 50

Рук

Вылезают, стирая

Плеснь.

26 их было,

26.

……..

Ночь как будто сегодня

Бледней.

Над Баку

26 теней.

Теней этих

26.

О них наша боль

И песнь.

То не ветер шумит,

Не туман.

Слышишь, как говорит

Шаумян:

«Джапаридзе,

Иль я ослеп,

Посмотри:

У рабочих хлеб.

Нефть — как черная

Кровь земли.

Паровозы кругом…

Корабли…

И во все корабли,

В поезда

Вбита красная наша

Звезда».

Джапаридзе в ответ:

«Да, есть.

Это очень приятная

Весть.

Значит, крепко рабочий

Класс

Держит в цепких руках

Кавказ.

Ночь, как дыню,

Катит луну.

Море в берег

Струит волну.

Вот в такую же ночь

И туман

Расстрелял нас

Отряд англичан».

Коммунизм —

Знамя всех свобод.

Ураганом вскипел

Народ.

На империю встали

Вряд

И крестьянин

И пролетариат.

Там, в России,

Дворянский бич

Был наш строгий отец

Ильич.

А на Востоке

Здесь

26 их было,

26.

……..

Свет небес все синей

И синей.

Молкнет говор

Дорогих теней.

Кто в висок прострелен,

А кто в грудь.

К Ахч-Куйме

Их обратный путь…

Пой, поэт, песню,

Пой,

Ситец неба такой

Голубой

Море тоже рокочет

Песнь.

26 их было,

26.

1924

Стансы

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи — не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.
Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне…
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.
Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.
Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.
Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих

О клеточной судьбе

Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!

Я поэт!

И не чета каким-то там Демьянам.

Пускай бываю иногда я пьяным,

Зато в глазах моих

Прозрений дивных свет.

Я вижу все

И ясно понимаю,

Что эра новая —

Не фунт изюму вам,

Что имя Ленина

Шумит, как ветр, по краю,

Давая мыслям ход,

Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!

Для вас обещай прок.

Я вам племянник,

Вы же мне все дяди.

Давай, Сергей,

За Маркса тихо сядем,

Понюхаем премудрость

Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут

В туманную реку.

Мелькают города,

Как буквы по бумаге.

Недавно был в Москве,

А нынче вот в Баку.

В стихию промыслов

Нас посвящает Чагин.

«Смотри, — он говорит, —

Не лучше ли церквей

Вот эти вышки

Черных нефть-фонтанов.

Довольно с нас мистических туманов,

Воспой, поэт,

Что крепче и живей».

Нефть на воде,

Как одеяло перса,

И вечер по небу

Рассыпал звездный куль.

Но я готов поклясться

Чистым сердцем,

Что фонари

Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустрийной мощи,

Я слышу голос человечьих сил.

Довольно с нас

Небесных всех светил —

Нам на земле

Устроить это проще.

И, самого себя

По шее гладя,

Я говорю:

«Настал наш срок,

Давай, Сергей,

За Маркса тихо сядем,

Чтоб разгадать

Премудрость скучных строк».

1924

Памяти Брюсова[100]

Мы умираем,

Сходим в тишь и грусть,

Но знаю я —

Нас не забудет Русь.

Любили девушек,

Любили женщин мы —

И ели хлеб

Из нищенской сумы.

Но не любили мы

Продажных торгашей.

Планета, милая, —

Катись, гуляй и пей.

Мы рифмы старые

Раз сорок повторим.

Пускать сумеем

Гоголя и дым.

Но все же были мы

Всегда одни.

Мой милый друг,

Не сетуй, не кляни!

Вот умер Брюсов,

Но помрем и мы, —

Не выпросить нам дней

Из нищенской сумы.

Но крепко вцапались

Мы в нищую суму.

Валерий Яклевич!

Мир праху твоему!

<1924>

Русь уходящая

Мы многое еще не сознаем,

Питомцы ленинской победы,

И песни новые

По-старому поем,

Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!

Какой раскол в стране,

Какая грусть в кипении веселом!

Знать, оттого так хочется и мне,

Задрав штаны,

Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,

Ну где же старикам

За юношами гнаться?

Они несжатой рожью на корню

Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам,

Не молодой, не старый,

Для времени навозом обречен.

Не потому ль кабацкий звон гитары

Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,

Звени, звени!

Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,

Чтоб я забыл отравленные дни,

Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню,

И потому я на нее в обиде,

Что юность светлую мою

В борьбе других я не увидел.

Что видел я?

Я видел только бой

Да вместо песен

Слышал канонаду.

Не потому ли с желтой головой

Я по планете бегал до упаду?

Но все ж я счастлив.

В сонме бурь

Неповторимые я вынес впечатленья.

Вихрь нарядил мою судьбу

В золототканое цветенье.

Я человек не новый!

Что скрывать?

Остался в прошлом я одной ногою,

Стремясь догнать стальную рать,

Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.

Те

Еще несчастней и забытей.

Они как отрубь в решете

Средь непонятных им событий.

Я знаю их

И подсмотрел:

Глаза печальнее коровьих.

Средь человечьих мирных дел,

Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?

Не троньте!

Будет запах смрада.

Они в самих себе умрут,

Истлеют падью листопада.

А есть другие люди,

Те, что верят,

Что тянут в будущее робкий взгляд.

Почесывая зад и перед,

Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,

О чем крестьянская судачит оголь.

«С Советской властью жить нам по нутрю…

Теперь бы ситцу… Да гвоздей немного…»

Как мало надо этим брадачам,

Чья жизнь в сплошном

Картофеле и хлебе.

Чего же я ругаюсь по ночам

На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,

Кто жизнь провел в бою,

Кто защищал великую идею.

А я, сгубивший молодость свою,

Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!

Какой большой скандал!

Я очутился в узком промежутке.

Ведь я мог дать

Не то, что дал,

Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,

Звени, звени!

Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,

Чтоб я забыл отравленные дни,

Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю, грусть не утопить в вине,

Не вылечить души

Пустыней и отколом.

Знать, оттого так хочется и мне,

Задрав штаны,

Бежать за комсомолом.

1924

Письмо к женщине

Вы помните,

Вы всё, конечно, помните,

Как я стоял,

Приблизившись к стене,

Взволнованно ходили вы по комнате

И что-то резкое

В лицо бросали мне.

Вы говорили:

Нам пора расстаться,

Что вас измучила

Моя шальная жизнь,

Что вам пора за дело приниматься,

А мой удел —

Катиться дальше, вниз.

Любимая!

Меня вы не любили.

Не знали вы, что в сонмище людском

Я был, как лошадь, загнанная в мыле,

Пришпоренная смелым ездоком,

Не знали вы,

Что я в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь, что не пойму —

Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу

Лица не увидать.

Большое видится на расстоянье.

Когда кипит морская гладь,

Корабль в плачевном состоянье.

Земля — корабль!

Но кто-то вдруг

За новой жизнью, новой славой

В прямую гущу бурь и вьюг

Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я

Под дикий шум,

Но зрело знающий работу,

Спустился в корабельный трюм,

Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —

Русским кабаком.

И я склонился над стаканом,

Чтоб, не страдая ни о ком,

Себя сгубить

В угаре пьяном.

Любимая!

Я мучил вас,

У вас была тоска

В глазах усталых:

Что я пред вами напоказ

Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,

Что в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь,

Что не пойму,

Куда несет нас рок событий…

……..

Теперь года прошли.

Я в возрасте ином.

И чувствую и мыслю по-иному.

И говорю за праздничным вином:

Хвала и слава рулевому!

Сегодня я

В ударе нежных чувств.

Я вспомнил вашу грустную усталость.

И вот теперь

Я сообщить вам мчусь,

Каков я был

И что со мною сталось!

Любимая!

Сказать приятно мне:

Я избежал паденья с кручи.

Теперь в Советской стороне

Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,

Кем был тогда.

Не мучил бы я вас,

Как это было раньше.

За знамя вольности

И светлого труда

Готов идти хоть до Ламанша.

Простите мне…

Я знаю: вы не та —

Живете вы

С серьезным, умным мужем;

Что не нужна вам наша маета,

И сам я вам

Ни капельки не нужен.

Живите так,

Как вас ведет звезда,

Под кущей обновленной сени.

С приветствием,

Вас помнящий всегда

Знакомый ваш

Сергей Есенин.

1924

Поэтам Грузии[101]

Писали раньше

Ямбом и октавой.

Классическая форма

Умерла,

Но ныне, в век наш

Величавый,

Я вновь ей вздернул

Удила.

Земля далекая!

Чужая сторона!

Грузинские кремнистые дороги.

Вино янтарное

В глаза струит луна,

В глаза глубокие,

Как голубые роги[102].

Поэты Грузии!

Я ныне вспомнил вас.

Приятный вечер вам,

Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,

По перу,

Словесных рек кипение

И шорох,

Я вас люблю,

Как шумную Куру,

Люблю в пирах и в разговорах.

Я — северный ваш друг

И брат!

Поэты — все единой крови.

И сам я тоже азиат

В поступках, в помыслах

И слове.

И потому в чужой

Стране

Вы близки

И приятны мне.

Века всё смелют,

Дни пройдут,

Людская речь

В один язык сольется.

Историк, сочиняя труд,

Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:

В пропасти времен

Есть изысканья и приметы…

Дрались сонмища племен,

Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует

Вещий знак:

Поэт поэту

Есть кунак.

Самодержавный

Русский гнет

Сжимал все лучшее за горло,

Его мы кончили —

И вот

Свобода крылья распростерла.

И каждый в пламени своем

Своим мотивом и наречьем,

Мы всяк

По-своему поем,

Поддавшись чувствам

Человечьим…

Свершился дивный

Рок судьбы:

Уже мы больше

Не рабы.

Поэты Грузии,

Я ныне вспомнил вас,

Приятный вечер вам,

Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,

По перу,

Словесных рек кипение

И шорох,

Я вас люблю,

Как шумную Куру,

Люблю в пирах и в разговорах.

1924

Письмо от матери

Чего же мне

Еще теперь придумать,

О чем теперь

Еще мне написать?

Передо мной

На столике угрюмом

Лежит письмо,

Что мне прислала мать.

Она мне пишет:

«Если можешь ты,

То приезжай, голубчик,

К нам на святки.

Купи мне шаль,

Отцу купи порты,

У нас в дому

Большие недостатки.

Мне страх не нравится,

Что ты поэт,

Что ты сдружился

С славою плохою.

Гораздо лучше б

С малых лет

Ходил ты в поле за сохою.

Стара я стала

И совсем плоха,

Но если б дома

Был ты изначала,

То у меня

Была б теперь сноха

И на ноге

Внучонка я качала.

Но ты детей

По свету растерял,

Свою жену

Легко отдал другому,

И без семьи, без дружбы,

Без причал

Ты с головой

Ушел в кабацкий омут.

Любимый сын мой,

Что с тобой?

Ты был так кроток,

Был так смиренен.

И говорили все наперебой:

Какой счастливый

Александр Есенин!

В тебе надежды наши

Не сбылись,

И на душе

С того больней и горше,

Что у отца

Была напрасной мысль,

Чтоб за стихи

Ты денег брал побольше.

Хоть сколько б ты

Ни брал,

Ты не пошлешь их в дом,

И потому так горько

Речи льются,

Что знаю я

На опыте твоем:

Поэтам деньги не даются.

Мне страх не нравится,

Что ты поэт,

Что ты сдружился

С славою плохою.

Гораздо лучше б

С малых лет

Ходил ты в поле за сохою.

Теперь сплошная грусть,

Живем мы, как во тьме.

У нас нет лошади.

Но если б был ты в доме,

То было б все,

И при твоем уме —

Пост председателя

В волисполкоме.

Тогда б жилось смелей,

Никто б нас не тянул,

И ты б не знал

Ненужную усталость,

Я б заставляла

Прясть

Твою жену,

А ты, как сын,

Покоил нашу старость».

……

Я комкаю письмо,

Я погружаюсь в жуть.

Ужель нет выхода

В моем пути заветном?

Но все, что думаю,

Я после расскажу.

Я расскажу

В письме ответном…

1924

Ответ

Старушка милая,

Живи, как ты живешь.

Я нежно чувствую

Твою любовь и память.

Но только ты

Ни капли не поймешь —

Чем я живу

И чем я в мире занят.

Теперь у вас зима.

И лунными ночами,

Я знаю, ты

Помыслишь не одна,

Как будто кто

Черемуху качает

И осыпает

Снегом у окна.

Родимая!

Ну как заснуть в метель?

В трубе так жалобно

И так протяжно стонет.

Захочешь лечь,

Но видишь не постель,

А узкий гроб

И — что тебя хоронят.

Как будто тысяча

Гнусавейших дьячков,

Поет она плакидой —

Сволочь вьюга!

И снег ложится

Вроде пятачков,

И нет за гробом

Ни жены, ни друга!

Я более всего

Весну люблю.

Люблю разлив

Стремительным потоком,

Где каждой щепке,

Словно кораблю,

Такой простор,

Что не окинешь оком.

Но ту весну,

Которую люблю,

Я революцией великой

Называю!

И лишь о ней

Страдаю и скорблю,

Ее одну

Я жду и призываю!

Но эта пакость —

Хладная планета!

Ее и Солнцем-Лениным

Пока не растопить!

Вот потому

С большой душой поэта

Пошел скандалить я,

Озорничать и пить.

Но время будет,

Милая, родная!

Она придет, желанная пора!

Недаром мы

Присели у орудий:

Тот сел у пушки,

Этот — у пера.

Забудь про деньги ты,

Забудь про все.

Какая гибель?!

Ты ли это, ты ли?

Ведь не корова я,

Не лошадь, не осел,

Чтобы меня

Из стойла выводили!

Я выйду сам,

Когда настанет срок,

Когда пальнуть

Придется по планете,

И, воротясь,

Тебе куплю платок,

Ну, а отцу

Куплю я штуки эти.

Пока ж — идет метель,

И тысячей дьячков

Поет она плакидой —

Сволочь вьюга.

И снег ложится

Вроде пятачков,

И нет за гробом

Ни жены, ни друга.

1924

Письмо деду[103]

Покинул я

Родимое жилище.

Голубчик! Дедушка!

Я вновь к тебе пишу…

У вас под окнами

Теперь метели свищут,

И в дымовой трубе

Протяжный вой и шум,

Как будто сто чертей

Залезло на чердак.

А ты всю ночь не спишь

И дрыгаешь ногою.

И хочется тебе

Накинуть свой пиджак,

Пойти туда,

Избить всех кочергою.

Наивность милая

Нетронутой души!

Недаром прадед

За овса три меры

Тебя к дьячку водил

В заброшенной глуши

Учить: «Достойно есть»

И с «Отче» «Символ веры».

Хорошего коня пасут.

Отборный корм

Ему любви порука.

И, самого себя

Призвав на суд,

Тому же самому

Ты обучать стал внука.

Но внук учебы этой

Не постиг

И, к горечи твоей,

Ушел в страну чужую.

По-твоему, теперь

Бродягою брожу я,

Слагая в помыслах

Ненужный глупый стих.

Ты говоришь:

Что у тебя украли,

Что я дурак,

А город — плут и мот.

Но только, дедушка,

Едва ли так, едва ли, —

Плохую лошадь

Вор не уведет.

Плохую лошадь

Со двора не сгонишь,

Но тот, кто хочет

Знать другую гладь,

Тот скажет:

Чтоб не сгнить в затоне,

Страну родную

Нужно покидать.

Вот я и кинул.

Я в стране далекой.

Весна.

Здесь розы больше кулака.

И я твоей

Судьбине одинокой

Привет их теплый

Шлю издалека.

Теперь метель

Вовсю свистит в Рязани,

А у тебя —

Меня увидеть зуд.

Но ты ведь знаешь —

Никакие сани

Тебя сюда

Ко мне не завезут.

Я знаю —

Ты б приехал к розам,

К теплу.

Да только вот беда:

Твое проклятье

Силе паровоза

Тебя навек

Не сдвинет никуда.

А если я помру?

Ты слышишь, дедушка?

Помру я?

Ты сядешь или нет в вагон,

Чтобы присутствовать

На свадьбе похорон

И спеть в последнюю

Печаль мне «аллилуйя»?

Тогда садись, старик.

Садись без слез,

Доверься ты

Стальной кобыле.

Ах, что за лошадь,

Что за лошадь паровоз!

Ее, наверное,

В Германии купили.

Чугунный рот ее

Привык к огню,

И дым над ней, как грива, —

Черен, густ и четок.

Такую б гриву

Нашему коню, —

То сколько б вышло

Разных швабр и щеток!

Я знаю —

Время даже камень крошит…

И ты, старик,

Когда-нибудь поймешь,

Что, даже лучшую

Впрягая в сани лошадь,

В далекий край

Лишь кости привезешь…

Поймешь и то,

Что я ушел недаром

Туда, где бег

Быстрее, чем полет.

В стране, объятой вьюгой

И пожаром,

Плохую лошадь

Вор не уведет.

1924

Метель[104]

Прядите, дни, свою былую пряжу,

Живой души не перестроить ввек.

Нет!

Никогда с собой я не полажу,

Себе, любимому,

Чужой я человек.

Хочу читать, а книга выпадает,

Долит зевота,

Так и клонит в сон…

А за окном

Протяжный ветр рыдает,

Как будто чуя

Близость похорон.

Облезлый клен

Своей верхушкой черной

Гнусавит хрипло

В небо о былом.

Какой он клен?

Он просто столб позорный —

На нем бы вешать

Иль отдать на слом.

И первого

Меня повесить нужно,

Скрестив мне руки за спиной:

За то, что песней

Хриплой и недужной

Мешал я спать

Стране родной.

Я не люблю

Распевы петуха

И говорю,

Что если был бы в силе,

То всем бы петухам

Я выдрал потроха,

Чтобы они

Ночьми не голосили.

Но я забыл,

Что сам я петухом

Орал вовсю

Перед рассветом края,

Отцовские заветы попирая,

Волнуясь сердцем

И стихом.

Визжит метель,

Как будто бы кабан,

Которого зарезать собрались.

Холодный,

Ледяной туман,

Не разберешь,

Где даль,

Где близь…

Луну, наверное,

Собаки съели —

Ее давно

На небе не видать.

Выдергивая нитку из кудели,

С веретеном

Ведет беседу мать.

Оглохший кот

Внимает той беседе,

С лежанки свесив

Важную главу.

Недаром говорят

Пугливые соседи,

Что он похож

На черную сову.

Глаза смежаются,

И как я их прищурю,

То вижу въявь

Из сказочной поры:

Кот лапой мне

Показывает дулю,

А мать — как ведьма

С киевской горы.

Не знаю, болен я

Или не болен,

Но только мысли

Бродят невпопад.

В ушах могильный

Стук лопат

С рыданьем дальних

Колоколен.

Себя усопшего

В гробу я вижу

Под аллилуйные

Стенания дьячка.

Я веки мертвому себе

Спускаю ниже,

Кладя на них

Два медных пятачка.

На эти деньги,

С мертвых глаз,

Могильщику теплее станет, —

Меня зарыв,

Он тот же час

Себя сивухой остаканит.

И скажет громко:

«Вот чудак!

Он в жизни

Буйствовал немало…

Но одолеть не мог никак

Пяти страниц

Из «Капитала».

<1924>

Весна

Припадок кончен.

Грусть в опале.

Приемлю жизнь, как первый сон.

Вчера прочел я в «Капитале»,

Что для поэтов —

Свой закон.

Метель теперь

Хоть чертом вой,

Стучись утопленником голым, —

Я с отрезвевшей головой

Товарищ бодрым и веселым.

Гнилых нам нечего жалеть,

Да и меня жалеть не нужно,

Коль мог покорно умереть

Я в этой завирухе вьюжной.

Тинь-тинь, синица!

Добрый день!

Не бойся!

Я тебя не трону.

И коль угодно,

На плетень

Садись по птичьему закону.

Закон вращенья в мире есть,

Он — отношенье

Средь живущих.

Коль ты с людьми единой кущи, —

Имеешь право

Лечь и сесть.

Привет тебе,

Мой бедный клен!

Прости, что я тебя обидел.

Твоя одежда в рваном виде,

Но будешь

Новой наделен.

Без ордера тебе апрель

Зеленую отпустит шапку,

И тихо

В нежную охапку

Тебя обнимет повитель.

И выйдет девушка к тебе,

Водой окатит из колодца,

Чтобы в суровом октябре

Ты мог с метелями бороться.

А ночью

Выплывет луна.

Ее не слопали собаки:

Она была лишь не видна

Из-за людской

Кровавой драки.

Но драка кончилась…

И вот —

Она своим лимонным светом

Деревьям, в зелень разодетым,

Сиянье звучное

Польет.

Так пей же, грудь моя,

Весну!

Волнуйся новыми

Стихами!

Я нынче, отходя ко сну,

Не поругаюсь

С петухами.

Земля, земля!

Ты не металл,—

Металл ведь

Не пускает почку.

Достаточно попасть

На строчку,

И вдруг —

Понятен «Капитал».

<1924>

Персидские мотивы[105]

«Улеглась моя былая рана…»

Улеглась моя былая рана —

Пьяный бред не гложет сердце мне.

Синими цветами Тегерана

Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,

Чтобы славилась пред русским чайхана,

Угощает меня красным чаем

Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.

Много роз цветет в твоем саду.

Незадаром мне мигнули очи,

Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних

На цепи не держим, как собак,

Поцелуям учимся без денег,

Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенья стана,

Что лицом похожа на зарю,

Подарю я шаль из Хороссана

И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,

Я тебе вовеки не солгу.

За себя я нынче отвечаю,

За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,

Все равно калитка есть в саду…

Незадаром мне мигнули очи,

Приоткинув черную чадру.

1924

«Я спросил сегодня у менялы…»

Я спросил сегодня у менялы,

Что дает за полтумана по рублю,

Как сказать мне для прекрасной Лалы

По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы

Легче ветра, тише Ванских струй,

Как назвать мне для прекрасной Лалы

Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,

В сердце робость глубже притая,

Как сказать мне для прекрасной Лалы,

Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:

О любви в словах не говорят,

О любви вздыхают лишь украдкой,

Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,

Поцелуй не надпись на гробах.

Красной розой поцелуи веют,

Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,

С нею знают радость и беду.

«Ты — моя» сказать лишь могут руки,

Что срывали черную чадру.

1924

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»[106]

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Потому, что я с севера, что ли,

Я готов рассказать тебе поле,

Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,

Что луна там огромней в сто раз,

Как бы ни был красив Шираз[107],

Он не лучше рязанских раздолий,

Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,

Эти волосы взял я у ржи,

Если хочешь, на палец вяжи —

Я нисколько не чувствую боли.

Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне

По кудрям ты моим догадайся.

Дорогая, шути, улыбайся,

Не буди только память во мне

Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Там, на севере, девушка тоже,

На тебя она страшно похожа,

Может, думает обо мне…

Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924

«Ты сказала, что Саади…»

Ты сказала, что Саади

Целовал лишь только в грудь.

Подожди ты, бога ради,

Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: «За Ефратом

Розы лучше смертных дев».

Если был бы я богатым,

То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,

Ведь одна отрада мне —

Чтобы не было на свете

Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,

У меня заветов нет.

Коль родился я поэтом,

То целуюсь, как поэт.

19 декабря 1924

«Никогда я не был на Босфоре…»

Никогда я не был на Босфоре,

Ты меня не спрашивай о нем.

Я в твоих глазах увидел море,

Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,

Не возил я шелк туда и хну.

Наклонись своим красивым станом,

На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,

Для тебя навеки дела нет,

Что в далеком имени — Россия —

Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,

При луне собачий слышу лай.

Разве ты не хочешь, персиянка,

Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки —

Ты меня, незримая, звала.

И меня твои лебяжьи руки

Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,

И хоть прошлой жизни не кляну,

Расскажи мне что-нибудь такое

Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,

Напои дыханьем свежих чар,

Чтобы я о дальней северянке

Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —

Я тебе придумаю о нем.

Все равно — глаза твои, как море,

Голубым колышутся огнем.

1924

«Свет вечерний шафранного края…»

Свет вечерний шафранного края,

Тихо розы бегут по полям.

Спой мне песню, моя дорогая,

Ту, которую пел Хаям.

Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,

Кружит звезд мотыльковый рой.

Мне не нравится, что персияне

Держат женщин и дев под чадрой.

Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,

Закрывая телесную медь?

Или, чтобы их больше любили,

Не желают лицом загореть,

Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,

Заучи эту заповедь вкратце,

Ведь и так коротка наша жизнь,

Мало счастьем дано любоваться.

Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке

Осеняет своя благодать.

Потому и прекрасные щеки

Перед миром грешно закрывать,

Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.

Сердцу снится страна другая.

Я спою тебе сам, дорогая,

То, что сроду не пел Хаям…

Тихо розы бегут по полям.

1924

«Воздух прозрачный и синий…»

Воздух прозрачный и синий,

Выйду в цветочные чащи.

Путник, в лазурь уходящий,

Ты не дойдешь до пустыни.

Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,

Садом — в цветенье диком,

Ты не удержишься взглядом,

Чтоб не припасть к гвоздикам.

Лугом пройдешь, как садом.

Шепот ли, шорох иль шелест —

Нежность, как песни Саади.

Вмиг отразится во взгляде

Месяца желтая прелесть,

Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся пери,

Тихий, как флейта Гассана.

В крепких объятиях стана

Нет ни тревог, ни потери,

Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный

Всех, кто в пути устали.

Ветер благоуханный

Пью я сухими устами,

Ветер благоуханный.

<1925>

«Золото холодное луны…»

Золото холодное луны,

Запах олеандра и левкоя.

Хорошо бродить среди покоя

Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,

Где жила и пела Шахразада.

Но теперь ей ничего не надо.

Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли

Поросли кладбищенской травою.

Ты же, путник, мертвым не внемли,

Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:

Губы к розам так и тянет, тянет.

Помирись лишь в сердце со врагом —

И тебя блаженством ошафранит.

Жить — так жить, любить — так уж влюбляться

В лунном золоте целуйся и гуляй,

Если ж хочешь мертвым поклоняться,

То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, —

Так вторично скажет листьев медь,

Тех, которым ничего не надо,

Только можно в мире пожалеть.

<1925>

«В Хороссане есть такие двери…»

В Хороссане есть такие двери,

Где обсыпан розами порог.

Там живет задумчивая пери.

В Хороссане есть такие двери,

Но открыть те двери я не мог,

У меня в руках довольно силы,

В волосах есть золото и медь.

Голос пери нежный и красивый.

У меня в руках довольно силы,

Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.

И зачем? Кому мне песни петь? —

Если стала неревнивой Шага,

Коль дверей не смог я отпереть,

Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.

Персия! Тебя ли покидаю?

Навсегда ль с тобою расстаюсь

Из любви к родимому мне краю?

Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,

Пусть не смог я двери отпереть,

Ты дала красивое страданье,

Про тебя на родине мне петь.

До свиданья, пери, до свиданья.

<1925>

«Голубая родина Фирдуси…»

Голубая родина Фирдуси,

Ты не можешь, памятью простыв,

Позабыть о ласковом урусе

И глазах, задумчиво простых,

Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я зияю,

Розы, как светильники, горят

И опять мне о далеком крае

Свежестью упругой говорят.

Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз

Ароматы, что хмельны, как брага,

И твой голос, дорогая Шага,

В этот трудный расставанья час

Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?

И в моей скитальческой судьбе

Близкому и дальнему мне люду

Буду говорить я о тебе —

И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,

Но на всякий случай твой угрюмый

Оставляю песенку про Русь:

Запевая, обо мне подумай,

И тебе я в песне отзовусь…

Март 1925

«Быть поэтом — это значит то же…»

Быть поэтом — это значит то же,

Если правды жизни не нарушить,

Рубцевать себя по нежной коже,

Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздолье,

Чтобы было для тебя известней.

Соловей поет — ему не больно,

У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —

Жалкая, смешная побрякушка.

Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.
Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки,
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.
И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит ножик.
Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
«Ну и что ж, помру себе бродягой,
На земле и это нам знакомо».
Август 1925

«Руки милой — пара лебедей…»
Руки милой — пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.
Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.
Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою,
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.
Я не знаю, как мне жизнь прожить:
Догореть ли в ласках милой Шаги
Иль под старость трепетно тужить
О прошедшей песенной отваге?
У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что — для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.

Про меня же и за эти песни

Говорите так среди людей:

Он бы пел нежнее и чудесней,

Да сгубила пара лебедей.

Август 1925

«Отчего луна так светит тускло…»

«Отчего луна так светит тускло

На сады и стены Хороссана?

Словно я хожу равниной русской

Под шуршащим пологом тумана», —

Так спросил я, дорогая Лала,

У молчащих ночью кипарисов,

Но их рать ни слова не сказала,

К небу гордо головы завысив.

«Отчего луна так светит грустно?» —

У цветов спросил я в тихой чаще,

И цветы сказали: «Ты почувствуй

По печали розы шелестящей».

Лепестками роза расплескалась,

Лепестками тайно мне сказала:

«Шаганэ твоя с другим ласкалась,

Шаганэ другого целовала.

Говорила: «Русский не заметит…

Сердцу — песнь, а песне — жизнь и тело…»

Оттого луна так тускло светит,

Оттого печально побледнела.

Слишком много виделось измены,

Слез и мук, кто ждал: их, кто не хочет.

…… .

Но и все ж вовек благословенны

На земле сиреневые ночи.

Август 1925

«Глупое сердце, не бейся!..»

Глупое сердце, не бейся!

Все мы обмануты счастьем,

Нищий лишь просит участья…

Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары

Льют по каштанам в пролесь.

Лале склонясь на шальвары,

Я под чадрою укроюсь.

Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,

Часто смеемся и плачем:

Выпали нам на свете

Радости и неудачи.

Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,

Счастья искал повсюду,

Только удел желанный

Больше искать не буду.

Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула.

Новой напьемся силой.

Сердце, ты хоть бы заснуло

Здесь, на коленях у милой.

Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит

Рок, что течет лавиной,

И на любовь ответит

Песнею соловьиной.

Глупое сердце, не бейся.

Август 1925

«Голубая да веселая страна…»

Голубая да веселая страна.

Честь моя за песню продана.

Ветер с моря, тише дуй и вей —

Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется —

Эта песня в сердце отзовется.

Ветер с моря, тише дуй и вей —

Слышишь, розу кличет соловей?

Ты — ребенок, в этом спора нет,

Да и я ведь разве не поэт?

Ветер с моря, тише дуй и вей —

Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия[108], прости.

Много роз бывает на пути,

Много роз склоняется и гнется,

Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе — ты и я —

За такие милые края.

Ветер с моря, тише дуй и вей —

Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.

Пусть вся жизнь моя за песню продана,

Но за Гелию в тенях ветвей

Обнимает розу соловей.

1925

Капитан земли[109]

Еще никто

Не управлял планетой,

И никому

Не пелась песнь моя.

Лишь только он,

С рукой своей воздетой,

Сказал, что мир —

Единая семья.

Не обольщен я

Гимнами герою,

Не трепещу

Кровопроводом жил.

Я счастлив тем,

Что сумрачной порою

Одними чувствами

Я с ним дышал

И жил.

Не то что мы,

Которым все так

Близко,—

Впадают в диво

И слоны…

Как скромный мальчик

Из Симбирска

Стал рулевым

Своей страны.

Средь рева волн

В своей расчистке,

Слегка суров

И нежно мил,

Он много мыслил

По-марксистски,

Совсем по-ленински

Творил.

Нет!

Это не разгулье Стеньки!

Не пугачевский

Бунт и трон!

Он никого не ставил

К стенке.

Все делал

Лишь людской закон.

Он в разуме

Отваги полный

Лишь только прилегал

К рулю,

Чтобы об мыс

Дробились волны,

Простор давая

Кораблю.

Он — рулевой

И капитан,

Страшны ль с ним

Шквальные откосы?

Ведь, собранная

С разных стран,

Вся партия — его

Матросы.

Не трусь,

Кто к морю не привык:

Они за лучшие

Обеты

Зажгут,

Сойдя на материк,

Путеводительные светы.

Тогда поэт

Другой судьбы,

И уж не я,

А он меж вами

Споет вам песню

В честь борьбы

Другими,

Новыми словами.

Он скажет:

«Только тот пловец,

Кто, закалив

В бореньях душу,

Открыл для мира наконец

Никем не виданную

Сушу».

17 января 1925

Воспоминание

Теперь октябрь не тот,

Не тот октябрь теперь.

В стране, где свищет непогода,

Ревел и выл

Октябрь, как зверь,

Октябрь семнадцатого года.

Я помню жуткий

Снежный день.

Его я видел мутным взглядом.

Железная витала тень

Над омраченным Петроградом.[110]

Уже все чуяли грозу,

Уже все знали что-то,

Знали,

Что не напрасно, знать, везут

Солдаты черепах из стали.

Рассыпались…

Уселись в ряд…

У публики дрожат поджилки…

И кто-то вдруг сорвал плакат

Со стен трусливой учредилки.

И началось…

Метнулись взоры,

Войной гражданскою горя,

И дымом пламенной «Авроры»

Взошла железная заря.

Свершилась участь роковая,

И над страной под вопли «матов»

Взметнулась надпись огневая:

«Совет Рабочих Депутатов».

<1925>

Мой путь

Жизнь входит в берега.

Села давнишний житель,

Я вспоминаю то,

Что видел я в краю.

Стихи мои,

Спокойно расскажите

Про жизнь мою.

Изба крестьянская.

Хомутный запах дегтя,

Божница старая,

Лампады кроткий свет.

Как хорошо,

Что я сберег те

Все ощущенья детских лет.

Под окнами

Костер метели белой.

Мне девять лет.

Лежанка, бабка, кот…

И бабка что-то грустное,

Степное пела,

Порой зевая

И крестя свой рот.

Метель ревела.

Под оконцем

Как будто бы плясали мертвецы.

Тогда империя

Вела войну с японцем,

И всем далекие

Мерещились кресты.

Тогда не знал я

Черных дел России.

Не знал, зачем

И почему война.

Рязанские поля,

Где мужики косили,

Где сеяли свой хлеб,

Была моя страна.

Я помню только то,

Что мужики роптали,

Бранились в черта,

В бога и в царя.

Но им в ответ

Лишь улыбались дали

Да наша жидкая

Лимонная заря.

Тогда впервые

С рифмой я схлестнулся.

От сонма чувств

Вскружилась голова.

И я сказал:

Коль этот зуд проснулся,

Всю душу выплещу в слова.

Года далекие,

Теперь вы как в тумане.

И помню, дед мне

С грустью говорил:

«Пустое дело…

Ну, а если тянет —

Пиши про рожь,

Но больше про кобыл».

Тогда в мозгу,

Влеченьем к музе сжатом,

Текли мечтанья

В тайной тишине,

Что буду я

Известным и богатым

И будет памятник

Стоять в Рязани мне.

В пятнадцать лет

Взлюбил я до печенок

И сладко думал,

Лишь уединюсь,

Что я на этой

Лучшей из девчонок,

Достигнув возраста, женюсь.

……

Года текли.

Года меняют лица —

Другой на них

Ложится свет.

Мечтатель сельский —

Я в столице

Стал первокласнейший поэт.

И, заболев

Писательскою скукой,

Пошел скитаться я

Средь разных стран,

Не веря встречам,

Не томясь разлукой,

Считая мир весь за обман.

Тогда я понял,

Что такое Русь.

Я понял, что такое слава.

И потому мне

В душу грусть

Вошла, как горькая отрава.

На кой мне черт,

Что я поэт!..

И без меня в достатке дряни.

Пускай я сдохну,

Только…

Нет,

Не ставьте памятник в Рязани!

Россия… Царщина….

Тоска…

И снисходительность дворянства.

Ну что ж!

Так принимай, Москва,

Отчаянное хулиганство.

Посмотрим —

Кто кого возьмет!

И вот в стихах моих

Забила

В салонный вылощенный

Сброд

Мочой рязанская кобыла.

Не нравится?

Да, вы правы —

Привычка к Лориган

И к розам…

Но этот хлеб,

Что жрете вы,—

Ведь мы его того-с.

Навозом…

Еще прошли года.

В годах такое было,

О чем в словах

Всего не рассказать:

На смену царщине

С величественной силой

Рабочая предстала рать.

Устав таскаться

По чужим пределам,

Вернулся я

В родимый дом.

Зеленокосая,

В юбчонке белой

Стоит береза над прудом.

Уж и береза!

Чудная… А груди…

Таких грудей

У женщин не найдешь.

С полей обрызганные солнцем

Люди

Везут навстречу мне

В телегах рожь.

Им не узнать меня,

Я им прохожий.

Но вот проходит

Баба, не взглянув.

Какой-то ток

Невыразимой дрожи

Я чувствую во всю спину.

Ужель она?

Ужели не узнала?

Ну и пускай,

Пускай себе пройдет..#

И без меня ей

Горечи немало —

Недаром лег

Страдальчески так рот.

По вечерам,

Надвинув ниже кепи,

Чтобы не выдать

Холода очей,—

Хожу смотреть я

Скошенные степи

И слушать,

Как звенит ручей.

Ну что же?

Молодость прошла!

Пора приняться мне

За дело,

Чтоб озорливая душа

Уже по-зрелому запела.

И пусть иная жизнь села

Меня наполнит

Новой силой,

Как раньше

К славе привела

Родная русская кобыла.

<1925>

Собаке Качалова[111]

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду.

Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.

Пойми со мной хоть самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,

Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,

И у него гостей бывает в доме много,

И каждый, улыбаясь, норовит

Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,

С такою милою доверчивой приятцей.

И, никого ни капли не спросив,

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей

Так много всяких и невсяких было.

Но та, что всех безмолвней и грустней,

Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.

И без меня, в ее уставясь взгляд,

Ты за меня лизни ей нежно руку

За все, в чем был и не был виноват.

1925

«Несказанное, синее, нежное…»

Несказанное, синее, нежное…

Тих мой край после бурь, после гроз,

И душа моя — поле безбрежное —

Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,

Но того, что прошло, не кляну.

Словно тройка коней оголтелая

Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.

И пропали под дьявольский свист.

А теперь вот в лесной обители

Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?

Все спокойно впивает грудь.

Стой, душа, мы с тобой проехали

Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,

Что случилось, что сталось в стране,

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,

Только жаль на тридцатом году —

Слишком мало я в юности требовал,

Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжелудясь,

Так же гнется, как в поле трава…

Эх ты, молодость, буйная молодость,

Золотая сорвиголова!

1925

Песня

Есть одна хорошая песня у соловушки —

Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, росла — ножевая,

А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.

Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-сталось, сам не понимаю.

Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.

Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.

В темноте мне кажется — обнимаю милую.

За окном гармоника и сиянье месяца.

Только знаю — милая никогда не встретится.

Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая,

Как гитара старая и как песня новая.

С теми же улыбками, радостью и муками,

Что певалось дедами, то поется внуками.

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —

Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли

В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,

Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, была — ножевая,

А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

1925

«Ну, целуй меня, целуй…»

Ну, целуй меня, целуй,

Хоть до крови, хоть до боли.

Не в ладу с холодной волей

Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка

Средь веселых не для нас.

Понимай, моя подружка,

На земле живут лишь раз!

Оглядись спокойным взором,

Посмотри: во мгле сырой

Месяц, словно желтый ворон,

Кружит, вьется над землей.

Ну, целуй же! Так хочу я.

Песню тлен пропел и мне.

Видно, смерть мою почуял

Тот, кто вьется в вышине.

Увядающая сила!

Умирать — так умирать!

До кончины губы милой

Я хотел бы целовать.

Чтоб все время в синих дремах,

Не стыдясь и не тая,

В нежном шелесте черемух

Раздавалось: «Я твоя».

И чтоб свет над полной кружкой

Легкой пеной не погас —

Пей и пой, моя подружка:

На земле живут лишь раз!

1925

1 Мая[112]

Есть музыка, стихи и танцы,

Есть ложь и лесть…

Пускай меня бранят за «Стансы»[113] —

В них правда есть.

Я видел праздник, праздник мая —

И поражен.

Готов был сгибнуть, обнимая

Всех дев и жен.

Куда пойдешь, кому расскажешь

На чье-то «хны»,

Что в солнечной купались пряже

Балаханы?

Ну как тут в сердце гимн не высечь,

Не впасть как в дрожь?

Гуляли, пели сорок тысяч

И пили тож.

Стихи! стихи! Не очень лефте[114]!

Простей! Простей!

Мы пили за здоровье нефти

И за гостей.

И, первый мой бокал вздымая,

Одним кивком

Я выпил в этот праздник мая

За Совнарком.

Второй бокал, чтоб так, не очень

Вдрезину лечь,

Я гордо выпил за рабочих

Под чью-то речь.

И третий мой бокал я выпил,

Как некий хан,

За то, чтоб не сгибалась в хрипе

Судьба крестьян.

Пей, сердце! Только не в упор ты,

Чтоб жизнь губя…

Вот потому я пил четвертый

Лишь за себя.

Письмо к сестре[115]

О Дельвиге писал наш Александр,

О черепе выласкивал он

Строки.[116]

Такой прекрасный и такой далекий,

Но все же близкий,

Как цветущий сад!

Привет, сестра!

Привет, привет!

Крестьянин я иль не крестьянин?!

Ну как теперь ухаживает дед

За вишнями у нас, в Рязани?

Ах, эти вишни!

Ты их не забыла?[117]

И сколько было у отца хлопот,

Чтоб наша тощая

И рыжая кобыла

Выдергивала плугом корнеплод.

Отцу картофель нужен.

Нам был нужен сад.

И сад губили,

Да, губили, душка!

Об этом знает мокрая подушка

Немножко… Семь…

Иль восемь лет назад.

Я помню праздник,

Звонкий праздник мая.

Цвела черемуха,

Цвела сирень.

И, каждую березку обнимая,

Я был пьяней,

Чем синий день.

Березки!

Девушки-березки!

Их не любить лишь может тот,

Кто даже в ласковом подростке

Предугадать не может плод.

Сестра! Сестра!

Друзей так в жизни мало!

Как и на всех,

На мне лежит печать…

Коль сердце нежное твое

Устало,

Заставь его забыть и замолчать.

Ты Сашу знаешь.

Саша был хороший.

И Лермонтов

Был Саше по плечу.

Но болен я…

Сиреневой порошей

Теперь лишь только

Душу излечу.

Мне жаль тебя.

Останешься одна,

А я готов дойти

Хоть до дуэли.

«Блажен, кто не допил до дна»[118]

И не дослушал глас свирели.

Но сад наш!..

Сад…

Ведь и по нем весной

Пройдут твои

Заласканные дети,

О!

Пусть они

Помянут невпопад,

Что жили…

Чудаки на свете.

<1925>

«Заря окликает другую…»

Заря окликает другую,

Дымится овсяная гладь…

Я вспомнил тебя, дорогую,

Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,

Костыль свой сжимая в руке,

Ты смотришь на лунный опорок,

Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,

С тревогой и грустью большой,

Что сын твой по отчему краю

Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста

И, в камень уставясь в упор,

Вздыхаешь так нежно и просто

За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,

А сестры росли, как май,

Ты все же глаза живые

Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!

И время тебе подсмотреть,

Что яблоне тоже больно

Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,

Как вешняя звень поутру,

И мне — чем сгнивать на ветках —

Уж лучше сгореть на ветру.

<1925>

«Не вернусь я в отчий дом…»

Не вернусь я в отчий дом,

Вечно странствующий странник.

Об ушедшем над прудом

Пусть тоскует конопляник.

Пусть неровные луга

Обо мне поют крапивой, —

Брызжет полночью дуга,

Колокольчик говорливый.

Высоко стоит луна,

Даже шапки не докинуть.

Песне тайна не дана,

Где ей жить и где погинуть.

Но на склоне наших лет

В отчий дом ведут дороги.

Повезут глухие дроги

Полутруп, полускелет.

Ведь недаром с давних пор

Поговорка есть в народе:

Даже пес в хозяйский двор

Издыхать всегда приходит.

Ворочусь я в отчий дом —

Жил и не? жил бедный странник…

…

В синий вечер над прудом

Прослезится конопляник.

<1925>

«Синий май. Заревая теплынь…»

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.
В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.
Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге…
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.
Сад колышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».
Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.
Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада…
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.
<1925>

«Неуютная жидкая лунность…»

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, —
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.
По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес…
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.
Равнодушен я стал к лачугам,

И очажный огонь мне не мил,

Даже яблонь весеннюю вьюгу

Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное…

И в чахоточном свете луны

Через каменное и стальное

Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно

Волочиться сохой по полям!

Нищету твою видеть больно

И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною…

Может, в новую жизнь не гожусь,

Но и все же хочу я стальною

Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю

В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,

Ни за что я теперь не желаю

Слушать песню тележных колес.

<1925>

«Прощай, Баку! Тебя я не увижу…»[119]

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.

Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.

И сердце под рукой теперь больней и ближе,

И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!

Хладеет кровь, ослабевают силы.

Но донесу, как счастье, до могилы

И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!

В последний раз я друга обниму…

Чтоб голова его, как роза золотая,

Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Май 1925

«Вижу сон. Дорога черная…»

Вижу сон. Дорога черная.

Белый конь. Стопа упорная.

И на этом на коне

Едет милая ко мне.

Едет, едет милая,

Только нелюбимая.

Эх, береза русская!

Путь-дорога узкая.

Эту милую, как сон,

Лишь для той, в кого влюблен,

Удержи ты ветками,

Как руками меткими.

Светит месяц. Синь и сонь.

Хорошо копытит конь.

Свет такой таинственный,

Словно для единственной —

Той, в которой тот же свет

И которой в мире нет.

Хулиган я, хулиган.

От стихов дурак и пьян.

Но и все ж за эту прыть,

Чтобы сердцем не остыть,

За березовую Русь

С нелюбимой помирюсь.

Июль 1925

«Каждый труд благослови, удача!..»

Каждый труд благослови, удача!

Рыбаку — чтоб с рыбой невода,

Пахарю — чтоб плуг его и кляча

Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,

Из кувшинок также можно пить —

Там, где омут розовых туманов

Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой

И, впиваясь в призрачную гладь,

Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,

На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут… коростели…

Потому так и светлы всегда

Те, что в жизни сердцем опростели

Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин,

И теперь рассказываю сам,

Соглядатай праздный, я ль не странен

Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,

Словно кто-то к родине отвык,

И с того, поднявшись над болотом,

В душу плачут чибис и кулик.

Июль 1925

«Видно, так заведено навеки…»

Видно, так заведено навеки —

К тридцати годам перебесясь,

Все сильней, прожженные калеки,

С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет тридцать,

И земля милей мне с каждым днем.

Оттого и сердцу стало сниться,

Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сгорая,

И недаром в липовую цветь

Вынул я кольцо у попугая[120] —

Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка,

Сняв с руки, я дал его тебе,

И теперь, когда грустит шарманка,

Не могу не думать, не робеть.

В голове болотный бродит омут,

И на сердце изморозь и мгла:

Может быть, кому-нибудь другому

Ты его со смехом отдала?

Может быть, целуясь до рассвета,

Он тебя расспрашивает сам,

Как смешного, глупого поэта

Привела ты к чувственным стихам.

Ну, и что ж! Пройдет и эта рана.

Только горько видеть жизни край.

В первый раз такого хулигана

Обманул проклятый попугай.

Июль 1925

«Я иду долиной. На затылке кепи…»

Я иду долиной. На затылке кепи,

В лайковой перчатке смуглая рука.

Далеко сияют розовые степи,

Широко синеет тихая река.

Я — беспечный парень. Ничего не надо.

Только б слушать песни — сердцем подпевать,

Только бы струилась легкая прохлада,

Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы, —

Сколько там нарядных мужиков и баб!

Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.

«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?

На земле милее. Полно плавать в небо.

Как ты любишь долы, так бы труд любил.

Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?

Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка —

Но косой выводят строчки хоть куда.

Под весенним солнцем, под весенней тучкой

Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.

Что же, дайте косу, я вам покажу —

Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,

Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.

Хорошо косою в утренний туман

Выводить по долам травяные строчки,

Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках — песня, в этих строчках — слово.

Потому и рад я в думах ни о ком,

Что читать их может каждая корова,

Отдавая плату теплым молоком.

<1925>

«Спит ковыль. Равнина дорогая…»

Спит ковыль. Равнина дорогая,

И свинцовой свежести полынь.

Никакая родина другая

Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,

И, пожалуй, всякого спроси —

Радуясь, свирепствуя и мучась,

Хорошо живется на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,

Плачут вербы, шепчут тополя.

Но никто под окрик журавлиный

Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом

И моей коснулась жизнь судьбы,

Все равно остался я поэтом

Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,

Вижу я, как сильного врага,

Как чужая юность брызжет новью

На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,

Я могу прочувственно пропеть:

Дайте мне на родине любимой,

Все любя, спокойно умереть!

Июль 1925

«Я помню, любимая, помню…»

Я помню, любимая, помню

Сиянье твоих волос.

Не радостно и не легко мне

Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,

Березовый шорох теней,

Пусть дни тогда были короче,

Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:

«Пройдут голубые года,

И ты позабудешь, мой милый,

С другою меня навсегда».

Сегодня цветущая липа

Напомнила чувствам опять,

Как нежно тогда я сыпал

Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь

И грустно другую любя,

Как будто любимую повесть

С другой вспоминает тебя.

<1925>

«Море голосов воробьиных…»

Море голосов воробьиных.

Ночь, а как будто ясно,

Так ведь всегда прекрасно.

Ночь, а как будто ясно,

И на устах невинных

Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое

Светит — хоть кинься в воду.[121]

Я не хочу покоя

В синюю эту погоду.

Ах, у луны такое

Светит — хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? та ли?

Эти уста не устали.

Эти уста, как в струях,

Жизнь утолят в поцелуях.

Милая, ты ли? та ли?

Розы ль мне то нашептали?

Сам я не знаю, что будет.

Близко, а может, гдей-то

Плачет веселая флейта.

В тихом вечернем гуде

Чту я за лилии груди.

Плачет веселая флейта,

Сам я не знаю, что будет.

<1925>

«Гори, звезда моя, не падай…»

Гори, звезда моя, не падай.

Роняй холодные лучи.

Ведь за кладбищенской оградой

Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью

И наполняешь тишь полей

Такой рыдалистою дрожью

Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,

Не то за рощей — за холмом

Я снова чью-то песню слышу

Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,

В березах убавляя сок,

За всех, кого любил и бросил,

Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро

Ни по моей, ни чьей вине

Под низким траурным забором

Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,

И сердце превратится в прах.

Друзья поставят серый камень

С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,

Я для себя сложил бы так:

Любил он родину и землю,

Как любит пьяница кабак.

Август 1925

«Жизнь — обман с чарующей тоскою…»[122]

Жизнь — обман с чарующей тоскою,

Оттого так и сильна она,

Что своею грубою рукою

Роковые пишет письмена.

Я всегда, когда глаза закрою,

Говорю: «Лишь сердце потревожь,

Жизнь — обман, но и она порою

Украшает радостями ложь.

Обратись лицом к седому небу,

По луне гадая о судьбе,

Успокойся, смертный, и не требуй

Правды той, что не нужна тебе».

Хорошо в черемуховой вьюге

Думать так, что эта жизнь — стезя.

Пусть обманут легкие подруги,

Пусть изменят легкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,

Пусть острее бритвы злой язык, —

Я живу давно на все готовым,

Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,

Нет тепла от звездного огня.

Те, кого любил я, отреклися,

Кем я жил — забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,

Я, смотря с улыбкой на зарю,

На земле, мне близкой и любимой,

Эту жизнь за все благодарю.

Август 1925

«Листья падают, листья падают…»

Листья падают, листья падают.

Стонет ветер,

Протяжен и глух.

Кто же сердце порадует?

Кто его успокоит, мой друг?

С отягченными веками

Я смотрю и смотрю на луну.

Вот опять петухи кукарекнули

В обосененную тишину.

Предрассветное. Синее. Раннее.

И летающих звезд благодать.

Загадать бы какое желание,

Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою ношею,

Проклиная удел свой и дом?

Я хотел бы теперь хорошую

Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми

Только мне —

Не кому-нибудь —

И словами и чувствами новыми

Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под этою белою лунностью,

Принимая счастливый удел,

Я над песней не таял, не млел

И с чужою веселою юностью

О своей никогда не жалел.

Август 1925

«Над окошком месяц. Под окошком ветер…»

Над окошком месяц. Под окошком ветер.

Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий —

И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.

Где ты, моя липа? Липа вековая?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку

Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.

Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Август 1925

«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!..»

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!

Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?

Не шуми, осина, не пыли, дорога.

Пусть несется песня к милой до порога.

Пусть она услышит, пусть она поплачет.

Ей чужая юность ничего не значит.[123]

Ну, а если значит — проживет не мучась.

Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?

Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.

Все равно не будет то, что было раньше.

За былую силу, гордость и осанку

Только и осталась песня под тальянку.

Сентябрь 1925

«Я красивых таких не видел…»[124]

Сестре Шуре

Я красивых таких не видел,

Только, знаешь, в душе затаю

Не в плохой, а в хорошей обиде —

Повторяешь ты юность мою.

Ты — мое васильковое слово,

Я навеки люблю тебя.

Как живет теперь наша корова,

Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,

Исцеляй меня детским сном.

Отгорела ли наша рябина,

Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?

Я навеки покинул село,

Только знаю — багряной метелью

Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе

Вместо ласки и вместо слез

У ворот, как о сгибшей невесте,

Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,

Потому и достался не в срок,

Как любовь, как печаль и отрада,

Твой красивый рязанский платок.

Сентябрь 1925

«Ах, как много на свете кошек…»

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек,

Нам с тобой их не счесть никогда.

Сердцу снится душистый горошек,

И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,

Только помню с далекого дня —

На лежанке мурлыкал котенок,

Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,

Но под бабкину песню вскок

Он бросался, как юный тигренок,

На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,

А еще через несколько лет

Из кота того сделали шапку,

А ее износил наш дед.

Сентябрь 1925

«Ты запой мне ту песню, что прежде…»

Сестре Шуре

Ты запой мне ту песню, что прежде

Напевала нам старая мать.

Не жалея о сгибшей надежде,

Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю, и мне знакомо,

Потому и волнуй и тревожь —

Будто я из родимого дома

Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну, а я с такою,

Вот с такою же песней, как ты,

Лишь немного глаза прикрою —

Вижу вновь дорогие черты.

Ты мне пой. Ведь моя отрада —

Что вовек я любил не один

И калитку осеннего сада,

И опавшие листья с рябин.

Ты мне пой, ну, а я припомню

И не буду забывчиво хмур:

Так приятно и так легко мне

Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы

Полюбил у березки стан,

И ее золотистые косы,

И холщовый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жестко —

Мне за песнею и за вином

Показалась ты той березкой,

Что стоит под родимым окном.

Сентябрь 1925

«В этом мире я только прохожий…»

Сестре Шуре

В этом мире я только прохожий,

Ты махни мне веселой рукой.

У осеннего месяца тоже

Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,

В первый раз от прохлады согрет,

И опять и живу и надеюсь

На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность,

Посоленная белью песка,

И измятая чья-то невинность,

И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,

Что любить не отдельно, не врозь —

Нам одною любовью с тобою

Эту родину привелось.

Сентябрь 1925

«Эх вы, сани! А кони, кони!..»[125]

Эх вы, сани! А кони, кони!

Видно, черт их на землю принес.

В залихватском степном разгоне

Колокольчик хохочет до слез.

Ни луны, ни собачьего лая

В далеке, в стороне, в пустыре.

Поддержись, моя жизнь удалая,

Я еще не навек постарел.

Пой, ямщик, вперекор этой ночи, —

Хочешь, сам я тебе подпою

Про лукавые девичьи очи,

Про веселую юность мою.

Эх, бывало, заломишь шапку,

Да заложишь в оглобли коня,

Да приляжешь на сена охапку, —

Вспоминай лишь, как звали меня.

И откуда бралась осанка,

А в полуночную тишину

Разговорчивая тальянка

Уговаривала не одну.

Все прошло. Поредел мой волос.

Конь издох, опустел наш двор.

Потеряла тальянка голос,

Разучившись вести разговор.

Но и все же душа не остыла,

Так приятны мне снег и мороз,

Потому что над всем, что было,

Колокольчик хохочет до слез.

1925

«Снежная замять дробится и колется…»

Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек у окна.
Все мы бездомники, много ли нужно нам.
То, что далось мне, про то и пою.
Вот я опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою.
Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться —
Чайная чашка скользит из рук.
Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись,
Слушай — под эту гармонику снежную
Я расскажу про свою тебе жизнь.
Много я видел, и много я странствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянствовал.
Что лучше тебя никого не видал.
Вот и опять у лежанки я греюсь,
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.
Снова я ожил и снова надеюсь
Так же, как в детстве, на лучший удел.
А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне — осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.
1925

«Синий туман. Снеговое раздолье…»

Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Снег у крыльца как песок зыбучий.

Вот при такой же луне без слов,

Шапку из кошки на лоб нахлобучив,

Тайно покинул я отчий кров.

Снова вернулся я в край родимый.

Кто меня помнит? Кто позабыл?

Грустно стою я, как странник гонимый, —

Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,

Не по душе мне соболий мех.

Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку,

Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.

Все успокоились, все там будем,

Как в этой жизни радей не радей, —

Вот почему так тянусь я к людям,

Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал

И, улыбаясь, душой погас, —

Эту избу на крыльце с собакой

Словно я вижу в последний раз.

1925

«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся…»

Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся.

Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,

По равнине голой катится бубенчик.

Эх вы, сани-сани! Конь ты мой буланый!

Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим — что такое?

И станцуем вместе под тальянку трое.

Октябрь 1925

«Голубая кофта. Синие глаза…»

Голубая кофта. Синие глаза.

Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила: «Крутит ли метель?

Затопить бы печку, постелить постель».

Я ответил милой: «Нынче с высоты

Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели постель,

У меня на сердце без тебя метель».

Октябрь 1925

«Снежная замять крутит бойко…»

Снежная замять крутит бойко,

По полю мчится чужая тройка.

Мчится на тройке чужая младость.

Где мое счастье? Где моя радость?

Все укатилось под вихрем бойким

Вот на такой же бешеной тройке.

Октябрь 1925

«Вечером синим, вечером лунным…»

Вечером синим, вечером лунным

Был я когда-то красивым и юным.

Неудержимо, неповторимо

Все пролетело… далече… мимо…

Сердце остыло, и выцвели очи…

Синее счастье! Лунные ночи!

Октябрь 1925

«Не криви улыбку, руки теребя…»

Не криви улыбку, руки теребя,

Я люблю другую, только не тебя.

Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —

Не тебя я вижу, не к тебе пришел.

Проходил я мимо, сердцу все равно —

Просто захотелось заглянуть в окно.

Октябрь 1925

«Сочинитель бедный, это ты ли…»

Сочинитель бедный, это ты ли

Сочиняешь песни о луне?

Уж давно глаза мои остыли

На любви, на картах и вине.

Ах, луна влезает через раму,

Свет такой, хоть выколи глаза…

Ставил я на пиковую даму,

А сыграл бубнового туза.

Октябрь 1925

«Плачет метель, как цыганская скрипка…»

Плачет метель, как цыганская скрипка.

Милая девушка, злая улыбка,

Я ль не робею от синего взгляда?

Много мне нужно и много не надо.

Так мы далеки и так не схожи —

Ты молодая, а я все прожил.

Юношам счастье, а мне лишь память

Снежною ночью в лихую замять.

Я не заласкан — буря мне скрипка.

Сердце метелит твоя улыбка.

1925

«Ах, метель такая, просто черт возьми…»[126]

Ах, метель такая, просто черт возьми.

Забивает крышу белыми гвоздьми.

Только мне не страшно, и в моей судьбе

Непутевым сердцем я прибит к тебе.

<1925>

«Снежная равнина, белая луна…»

Снежная равнина, белая луна,

Саваном покрыта наша сторона.

И березы в белом плачут по лесам.

Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

<1925>

«Свищет ветер, серебряный ветер…»

Свищет ветер, серебряный ветер,

В шелковом шелесте снежного шума.

В первый раз я в себе заметил —

Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сырость,

Я не жалею, и я не печален.

Мне все равно эта жизнь полюбилась,

Так полюбилась, как будто вначале.

Взглянет ли женщина с тихой улыбкой —

Я уж взволнован. Какие плечи!

Тройка ль проскачет дорогой зыбкой —

Я уже в ней и скачу далече.

О, мое счастье и все удачи!

Счастье людское землей любимо.

Тот, кто хоть раз на земле заплачет, —

Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,

Все принимая, что есть на свете.

Вот почему, обалдев, над рощей

Свищет ветер, серебряный ветер.

1925

«Мелколесье. Степь и дали…»

Мелколесье. Степь и дали.

Свет луны во все концы.

Вот опять вдруг зарыдали

Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил много

Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!

Звоны мерзлые осин.

У меня отец — крестьянин,

Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность

И на то, что я поэт.

Эту чахленькую местность

Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды

Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой

Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,

Если с венкой в стынь и звень

Будет рядом веселиться

Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,

Знать, с того под этот вой

Не одна лихая слава

Пропадала трын-травой.

1925

«Цветы мне говорят — прощай…»

Цветы мне говорят — прощай,

Головками склоняясь ниже,

Что я навеки не увижу

Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!

Я видел их и видел землю,

И эту гробовую дрожь

Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг

Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —

Я говорю на каждый миг,

Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,

Печаль ушедшего не сгложет,

Оставленной и дорогой

Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,

Любимая с другим любимым,

Быть может, вспомнит обо мне,

Как о цветке неповторимом.

Октябрь 1925

Сказка о пастушонке Пете,

его комиссарстве и коровьем царстве[127]

Пастушонку Пете

Трудно жить на свете:

Тонкой хворостиной

Управлять скотиной.

Если бы корова

Понимала слово,

То жилось бы Пете

Лучше нет на свете.

Но коровы в спуске

На траве у леса,

Говоря по-русски,

Смыслят ни бельмеса.

Им бы лишь мычалось

Да трава качалась, —

Трудно жить на свете

Пастушонку Пете.

Хорошо весною

Думать под сосною,

Улыбаясь в дреме,

О родимом доме.

Май все хорошеет,

Ели все игольчей;

На коровьей шее

Плачет колокольчик.

Плачет и смеется

На цветы и травы,

Голос раздается

Звоном средь дубравы.

Пете-пастушонку

Голоса не новы, —

Он найдет сторонку,

Где звенят коровы.

Соберет всех в кучу,

На село отгонит,

Не получит взбучу —

Чести не уронит.

Любо хворостиной

Управлять скотиной,

В ночь у перелесиц

Спи и плюй на месяц.

Ну, а если лето —

Песня плохо спета.

Слишком много дела —

В поле рожь поспела.

Ах, уж не с того ли

Дни похорошели, —

Все колосья в поле

Как лебяжьи шеи.

Но беда на свете

Каждый час готова.

Зазевался Петя —

В рожь зайдет корова.

А мужик, как взглянет,

Разведет ручищей

Да как в спину втянет

Прямо кнутовищей.

Тяжко хворостиной

Управлять скотиной.

Вот приходит осень

С цепью кленов голых,

Что шумит, как восемь

Чертенят веселых.

Мокрый лист с осины

И дорожных ивок

Так и хлещет в спину,

В спину и в загривок.

Елка ли, кусток ли,

Только вплоть до кожи

Сапоги промокли,

Одежонка — тоже.

Некому открыться,

Весь как есть пропащий.

Вспуганная птица

Улетает в чащу.

И дрожишь полсутки

То душой, то телом.

Рассказать бы утке —

Утка улетела.

Рассказать дубровам —

У дубровы опадь.

Рассказать коровам —

Им бы только лопать.

Нет, никто на свете

На обмокшем спуске

Пастушонка Петю

Не поймет по-русски.

Трудно хворостиной

Управлять скотиной.

Мыслит Петя с жаром:

То ли дело в мире

Жил он комиссаром

На своей квартире.

Знал бы все он сроки,

Был бы всех речистей,

Собирал оброки

Да дороги чистил.

А по вязкой грязи,

По осенней тряске

Ездил в каждом разе

В волостной коляске.

И приснился Пете

Страшный сон на свете.

Все доступно в мире, —

Петя комиссаром

На своей квартире

С толстым самоваром.

Чай пьет на террасе,

Ездит в тарантасе,

Лучше нет на свете

Жизни, чем у Пети.

Но всегда недаром

Служат комиссаром:

Нужно знать все сроки,

Чтоб сбирать оброки.

Чай, конечно, сладок,

А с вареньем — дважды,

Но блюсти порядок

Может, да не каждый.

Нужно знать законы,

Ну, а где же Пете?

Он еще иконы

Держит в волсовете.

А вокруг совета

В дождь и непогоду

С самого рассвета

Уймище народу.

Наш народ ведь голый,

Что ни день, то с требой, —

То построй им школу,

То давай им хлеба.

Кто им наморочил?

Кто им накудахтал?

Отчего-то очень

Стал им нужен трактор.

Ну, а где же Пете?

Он ведь пас скотину —

Понимал на свете

Только хворостину.

А народ суровый

В ропоте и гаме

Хуже, чем коровы,

Хуже и упрямей.

С эдаким товаром

Дрянь быть комиссаром.

Взяли раз Петрушу

За живот, за душу,

Бросили в коляску

Да как дали таску…

……

Тут проснулся Петя.

Сладко жить на свете!

Встал, а день что надо, —

Солнечный, звенящий,

Легкая прохлада

Овевает чащи.

Петя с кротким словом

Говорит коровам:

«Не хочу и даром

Быть я комиссаром».

А над ним береза,

Веткой утираясь,

Говорит сквозь слезы,

Тихо улыбаясь:

«Тяжело на свете

Быть для всех примером.

Будь ты лучше, Петя,

Раньше пионером».

Малышам в острастку,

В мокрый день осенний,

Написал ту сказку

Я — Сергей Есенин.

Октябрь 1925

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…»

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,

Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?

Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,

Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,

Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,

Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,

Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,

Как жену чужую, обнимал березку.

28 ноября 1925

«Какая ночь! Я не могу…»

Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.
Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью,
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.
Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, —
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.
Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.
Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.
Что отлюбили мы давно,
Ты не меня, а я — другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.
Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.

30 ноября 1925

«Не гляди на меня с упреком…»

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,

Но люблю я твой взор с поволокой

И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,

И, пожалуй, увидеть я рад,

Как лиса, притворившись мертвой,

Ловит воронов и воронят.

Ну, и что же, лови, я не струшу.

Только как бы твой пыл не погас?

На мою охладевшую душу

Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,

Ты лишь отзвук, лишь только тень.

Мне в лице твоем снится другая,

У которой глаза — голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой

И, пожалуй, на вид холодна,

Но она величавой походкой

Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,

И не хочешь пойти, да пойдешь,

Ну, а ты даже в сердце не вранишь

Напоенную лаской ложь.

Но и все же, тебя презирая,

Я смущенно откроюсь навек:

Если б не было ада и рая,

Их бы выдумал сам человек.

1 декабря 1925

«Ты меня не любишь, не жалеешь…»

Ты меня не любишь, не жалеешь,

Разве я немного не красив?

Не смотря в лицо, от страсти млеешь,

Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,

Я с тобой не нежен и не груб.

Расскажи мне, скольких ты ласкала?

Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я — они прошли, как тени,

Не коснувшись твоего огня,

Многим ты садилась на колени,

А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи

И ты думаешь о ком-нибудь другом,

Я ведь сам люблю тебя не очень,

Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,

Легкодумна вспыльчивая связь, —

Как случайно встретился с тобою,

Улыбнусь, спокойно разойдясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой

Распылять безрадостные дни,

Только нецелованных не трогай,

Только негоревших не мани.

И когда с другим по переулку

Ты пройдешь, болтая про любовь,

Может быть, я выйду на прогулку,

И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи

И немного наклонившись вниз,

Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер!»

Я отвечу: «Добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,

И ничто ее не бросит в дрожь, —

Кто любил, уж тот любить не может,

Кто сгорел, того не подожжешь.

4 декабря 1925

«Может, поздно, может, слишком рано…»

Может, поздно, может, слишком рано,

И о чем не думал много лет,

Походить я стал на Дон-Жуана,

Как заправский ветреный поэт.

Что случилось? Что со мною сталось?

Каждый день я у других колен.

Каждый день к себе теряю жалость,

Не смиряясь с горечью измен.

Я всегда хотел, чтоб сердце меньше

Билось в чувствах нежных и простых,

Что ж ищу в очах я этих женщин —

Легкодумных, лживых и пустых?

Удержи меня, мое презренье,

Я всегда отмечен был тобой.

На душе холодное кипенье

И сирени шелест голубой.

На душе — лимонный свет заката,

И все то же слышно сквозь туман,—

За свободу в чувствах есть расплата,

Принимай же вызов, Дон-Жуан!

И, спокойно вызов принимая,

Вижу я, что мне одно и то ж —

Чтить метель за синий цветень мая,

Звать любовью чувственную дрожь.

Так случилось, так со мною сталось,

И с того у многих я колен,

Чтобы вечно счастье улыбалось,

Не смиряясь с горечью измен.

13 декабря 1925

«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель…»

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,

Синь очей утративший во мгле,

Эту жизнь прожил я словно кстати,

Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,

Потому что многих целовал,

И, как будто зажигая спички,

Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навеки»,

А в душе всегда одно и то ж,

Если тронуть страсти в человеке,

То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко

Не желать, не требовать огня,

Ты, моя ходячая березка,

Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную

И томясь в неласковом плену,

Я тебя нисколько не ревную,

Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,

Синь очей утративший во мгле,

И тебя любил я только кстати,

Заодно с другими на земле.

<1925>

«До свиданья, друг мой, до свиданья…»[128]

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова,

Не грусти и не печаль бровей, —

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

1925

ПОЭМЫ

ПУГАЧЕВ[129]

Анатолию Мариенгофу

1. Появление Пугачева в яицком городке

Пугачев

Ох, как устал и как болит нога!..

Ржет дорога в жуткое пространство.

Ты ли, ты ли, разбойный Чаган,

Приют дикарей и оборванцев?

Мне нравится степей твоих медь

И пропахшая солью почва.

Луна, как желтый медведь,

В мокрой траве ворочается.

Наконец-то я здесь, здесь!

Рать врагов цепью волн распалась,

Не удалось им на осиновый шест

Водрузить головы моей парус.

Яик, Яик, ты меня звал

Стоном придавленной черни!

Пучились в сердце жабьи глаза

Грустящей в закат деревни.

Только знаю я, что эти избы —

Деревянные колокола,

Голос их ветер хмарью съел.

О, помоги же, степная мгла,

Грозно свершить мой замысел!

Сторож

Кто ты, странник? Что бродишь долом?

Что тревожишь ты ночи гладь?

Отчего, словно яблоко тяжелое,

Виснет с шеи твоя голова?

Пугачев

В солончаковое ваше место

Я пришел из далеких стран, —

Посмотреть на золото телесное,

На родное золото славян.

Слушай, отче! Расскажи мне нежно,

Как живет здесь мудрый наш мужик?

Так же ль он в полях своих прилежно

Цедит молоко соломенное ржи?

Так же ль здесь, сломав зари застенок,

Гонится овес на водопой рысцой,

И на грядках, от капусты пенных,

Челноки ныряют огурцов?

Так же ль мирен труд домохозяек,

Слышен прялки ровный разговор?

Сторож

Нет, прохожий! С этой жизнью Яик

Раздружился с самых давних пор.

С первых дней, как оборвались вожжи,

С первых дней, как умер третий Петр,

Над капустой, над овсом, над рожью

Мы задаром проливаем пот.

Нашу рыбу, соль и рынок,

Чем сей край богат и рьян,

Отдала Екатерина

Под надзор своих дворян.

И теперь по всем окраинам

Стонет Русь от цепких лапищ.

Воском жалоб сердце Каина

К состраданью не окапишь.

Всех связали, всех вневолили,

С голоду хоть жри железо.

И течет заря над полем

С горла неба перерезанного.

Пугачев

Невеселое ваше житье!

Но скажи мне, скажи,

Неужель в народе нет суровой хватки

Вытащить из сапогов ножи

И всадить их в барские лопатки?

Сторож

Видел ли ты,

Как коса в лугу скачет,

Ртом железным перекусывая ноги трав?

Оттого что стоит трава на корячках,

Под себя коренья подобрав.

И никуда ей, траве, не скрыться

От горячих зубов косы,

Потому что не может она, как птица,

Оторваться от земли в синь.

Так и мы! Вросли ногами крови в избы,

Что нам первый ряд подкошенной травы?

Только лишь до нас не добрались бы,

Только нам бы,

Только б нашей

Не скосили, как ромашке, головы.

Но теперь как будто пробудились,

И березами заплаканный наш тракт

Окружает, как туман от сырости,

Имя мертвого Петра.

Пугачев

Как Петра? Что ты сказал, старик?

……

Иль это взвыли в небе облака?

Сторож

Я говорю, что скоро грозный крик,

Который избы, словно жаб, влакал,

Сильней громов раскатится над нами.

Уже мятеж вздымает паруса.

Нам нужен тот, кто б первый бросил камень.

Пугачев

Какая мысль!

Сторож

О чем вздыхаешь ты?

Пугачев

Я положил себе зарок молчать до срока.

……

Клещи рассвета в небесах

Из пасти темноты

Выдергивают звезды, словно зубы,

А мне еще нигде вздремнуть не удалось.

Сторож

Я мог бы предложить тебе

Тюфяк свой грубый,

Но у меня в дому всего одна кровать,

И четверо на ней спит ребятишек.

Пугачев

Благодарю! Я в этом граде гость.

Дадут приют мне под любою крышей.

Прощай, старик!

Сторож

Храни тебя господь!

……

……

Русь, Русь! И сколько их таких,

Как в решето просеивающих плоть,

Из края в край в твоих просторах шляется?

Чей голос их зовет,

Вложив светильником им посох в пальцы?

Идут они, идут! Зеленый славя гул,

Купая тело в ветре и в пыли,

Как будто кто сослал их всех на каторгу

Вертеть ногами

Сей шар земли.

Но что я вижу?

Колокол луны скатился ниже.

Он, словно яблоко увянувшее, мал.

Благовест лучей его стал глух.

Уж на нашесте громко заиграл

В куриную гармонику петух.

2. Бегство калмыков

Первый голос

Послушайте, послушайте, послушайте?

Вам не снился тележный свист?

Нынче ночью на заре жидкой

Тридцать тысяч калмыцких кибиток

От Самары проползло на Иргис.

От российской чиновничьей неволи,

Оттого что, как куропаток, их щипали

На наших лугах,

Потянулись они в свою Монголию

Стадом деревянных черепах.

Второй голос

Только мы, только мы лишь медлим,

Словно страшен нам захлестнувший нас шквал.

Оттого-то шлет нам каждую неделю

Приказы свои Москва.

Оттого-то, куда бы ни шел ты,

Видишь, как под усмирителей меч

Прыгают кошками желтыми

Казацкие головы с плеч.

Кирпичников

Внимание! Внимание! Внимание!

Не будьте ж трусливы, как овцы,

Сюда едут на страшное дело вас сманивать

Траубенберг и Тамбовцев.

Казаки

К черту! К черту предателей!

……

Тамбовцев

Сми-ирно-о!

Сотники казачьих отрядов,

Готовьтесь в поход!

Нынче ночью, как дикие звери,

Калмыки всем скопом орд

Изменили Российской империи

И угнали с собой весь скот.

Потопленную лодку месяца

Чаган выплескивает на берег дня.

Кто любит свое отечество,

Тот должен слушать меня.

Нет, мы не можем, мы не можем, мы не можем

Допустить сей ущерб стране.

Россия лишилась мяса и кожи,

Россия лишилась лучших коней.

Так бросимтесь же в погоню

На эту монгольскую мразь,

Пока она всеми ладонями

Китаю не предалась.

Кирпичников

Стой, атаман, довольно

Об ветер язык чесать.

За Россию нам, конешно, больно,

Оттого что нам Россия — мать.

Но мы ничуть, мы ничуть не испугались,

Что кто-то покинул наши поля,

И калмык нам не желтый заяц,

В которого можно, как в пищу, стрелять.

Он ушел, этот смуглый монголец,

Дай же бог ему добрый путь.

Хорошо, что от наших околиц

Он без боли сумел повернуть.

Траубенберг

Что это значит?

Кирпичников

Это значит то,

Что, если б

Наши избы были на колесах,

Мы впрягли бы в них своих коней

И гужом с солончаковых плесов

Потянулись в золото степей.

Наши б кони, длинно выгнув шеи,

Стадом черных лебедей

По водам ржи

Понесли нас, буйно хорошея,

В новый край, чтоб новой жизнью жить.

Казаки

Замучили! Загрызли, прохвосты!

Тамбовцев

Казаки! Вы целовали крест!

Вы клялись…

Кирпичников

Мы клялись, мы клялись Екатерине

Быть оплотом степных границ,

Защищать эти пастбища синие

От налета разбойных птиц.

Но скажите, скажите, скажите,

Разве эти птицы не вы?

Наших пашен суровых житель

Не найдет, где прикрыть головы.

Траубенберг

Это измена!..

Связать его! Связать!

Кирпичников

Казаки, час настал!

Приветствую тебя, мятеж свирепый!

Что не могли в словах сказать уста,

Пусть пулями расскажут пистолеты.

(Стреляет.)

Траубенберг падает мертвым. Конвойные разбегаются.

Казаки хватают лошадь Тамбовцева под уздцы и стаскивают его на землю.

Голоса

Смерть! Смерть тирану!

Тамбовцев

О господи! Ну что я сделал?

Первый голос

Мучил, злодей, три года,

Три года, как коршун белый,

Ни проезда не давал, ни прохода.

Второй голос

Откушай похлебки метелицы.

Отгулял, отстегал и отхвастал.

Третий голос

Черта ли с ним канителиться?

Четвертый голос

Повесить его — и баста!

Кирпичников

Пусть знает, пусть слышит Москва —

На расправы ее мы взбыстрим.

Это только лишь первый раскат,

Это только лишь первый выстрел.

Пусть помнит Екатерина,

Что если Россия — пруд,

То черными лягушками в тину

Пушки мечут стальную икру.

Пусть носится над страной,

Что казак не ветла на прогоне

И в луны мешок травяной

Он башку незадаром сронит.

3. Осенней ночью

Караваев

Тысячу чертей, тысячу ведьм и тысячу дьяволов!

Экий дождь! Экий скверный дождь!

Скверный, скверный!

Словно вонючая моча волов

Льется с туч на поля и деревни.

Скверный дождь!

Экий скверный дождь!

Как скелеты тощих журавлей,

Стоят ощипанные вербы,

Плавя ребер медь.

Уж золотые яйца листьев на земле

Им деревянным брюхом не согреть,

Не вывести птенцов — зеленых вербенят,

По горлу их скользнул сентябрь, как нож,

И кости крыл ломает на щебняк

Осенний дождь.

Холодный, скверный дождь!

О осень, осень!

Голые кусты,

Как оборванцы, мокнут у дорог.

В такую непогодь собаки, сжав хвосты,

Боятся головы просунуть за порог,

А тут вот стой, хоть сгинь,

Но тьму глазами ешь,

Чтоб не пробрался вражеский лазутчик.

Проклятый дождь!

Расправу за мятеж

Напоминают мне рыгающие тучи.

Скорей бы, скорей в побег, в побег

От этих кровью выдоенных стран.

С объятьями нас принимает всех

С Екатериною воюющий султан.

Уже стекается придушенная чернь

С озиркой, словно полевые мыши.

О солнце-колокол, твое тили-ли-день,

Быть может, здесь мы больше не услышим!

Но что там? Кажется, шаги?

Шаги… Шаги…

Эй, кто идет? Кто там идет?

Пугачев

Свой… свой…

Караваев

Кто свой?

Пугачев

Я, Емельян.

Караваев

А, Емельян, Емельян, Емельян!

Что нового в этом мире, Емельян?

Как тебе нравится этот дождь?

Пугачев

Этот дождь на счастье богом дан,

Нам на руку, чтоб он хлестал всю ночь.

Караваев

Да, да! Я тоже так думаю, Емельян.

Славный дождь! Замечательный дождь!

Пугачев

Нынче вечером, в темноте скрываясь,

Я правительственные посты осмотрел.

Все часовые попрятались, как зайцы,

Боясь замочить шинели.

Знаешь? Эта ночь, если только мы выступим,

Не кровью, а зарею окрасила б наши ножи,

Всех бы солдат без единого выстрела

В сонном Яике мы могли уложить…

Завтра ж к утру будет ясная погода,

Сивым табуном проскачет хмарь.

Слушай, ведь я из простого рода

И сердцем такой же степной дикарь!

Я умею, на сутки и версты не трогаясь,

Слушать бег ветра и твари шаг,

Оттого что в груди у меня, как в берлоге,

Ворочается зверенышем теплым душа.

Мне нравится запах травы, холодом подожженное

И сентябрьского листолета протяжный свист.

Знаешь ли ты, что осенью медвежонок

Смотрит на луну,

Как на вьющийся в ветре лист?

По луне его учит мать

Мудрости своей звериной,

Чтобы смог он, дурашливый, знать

И призванье свое и имя.

……

Я значенье мое разгадал…

Караваев

Тебе же недаром верят?

Пугачев

Долгие, долгие тяжкие года

Я учил в себе разуму зверя…

Знаешь? Люди ведь все со звериной душой, —

Тот медведь, тот лиса, та волчица,

А жизнь — это лес большой,

Где заря красным всадником мчится.

Нужно крепкие, крепкие иметь клыки.

Караваев

Да, да! Я тоже так думаю, Емельян…

И если б они у нас были,

То московские полки

Нас не бросали, как рыб, в Чаган.

Они б побоялись нас жать

И карать так легко и просто

За то, что в чаду мятежа

Убили мы двух прохвостов.

Пугачев

Бедные, бедные мятежники!

Вы цвели и шумели, как рожь.

Ваши головы колосьями нежными

Раскачивал июльский дождь.

Вы улыбались тварям…

……

Послушай, да ведь это ж позор,

Чтоб мы этим поганым харям

Не смогли отомстить до сих пор?

Разве это когда прощается,

Чтоб с престола какая-то б…

Протягивала солдат, как пальцы,

Непокорную чернь умерщвлять!

Нет, не могу, не могу!

К черту султана с туретчиной,

Только на радость врагу

Этот побег опрометчивый.

Нужно остаться здесь!

Нужно остаться, остаться,

Чтобы вскипела месть

Золотою пургой акаций,

Чтоб пролились ножи

Железными струями люто!

Слушай! Бросай сторожить,

Беги и буди весь хутор.

4. Происшествие на таловом умёте

Оболяев

Что случилось? Что случилось? Что случилось?

Пугачев

Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного.

Там на улице жолклая сырость

Гонит туман, как стада барашковые.

Мокрою цаплей по лужам полей бороздя,

Ветер заставил все живое,

Как жаб по их гнездам, скрыться,

И только порою,

Привязанная к нитке дождя,

Черным крестом в воздухе

Проболтается шальная птица.

Это осень, как старый оборванный монах,

Пророчит кому-то о погибели веще.

……

Послушайте, для наших благ

Я придумал кой-что похлеще.

Караваев

Да, да! Мы придумали кой-что похлеще.

Пугачев

Знаете ли вы,

Что по черни ныряет весть,

Как по гребням волн лодка с парусом низким?

По-звериному любит мужик наш на корточки сесть

И сосать эту весть, как коровьи большие сиськи.

От песков Джигильды до Алатыря

Эта весть о том,

Что какой-то жестокий поводырь

Мертвую тень императора

Ведет на российскую ширь.

Эта тень с веревкой на шее безмясой,

Отвалившуюся челюсть теребя,

Скрипящими ногами приплясывая,

Идет отомстить за себя.

Идет отомстить Екатерине,

Подымая руку, как желтый кол,

За то, что она с сообщниками своими,

Разбив белый кувшин

Головы его,

Взошла на престол.

Оболяев

Это только веселая басня!

Ты, конечно, не за этим пришел,

Чтоб рассказать ее нам?

Пугачев

Напрасно, напрасно, напрасно

Ты так думаешь, брат Степан.

Караваев

Да, да! По-моему, тоже напрасно.

Пугачев

Разве важно, разве важно, разве важно,

Что мертвые не встают из могил?

Но зато кой-где почву безвлажную

Этот слух словно плугом взрыл.

Уже слышится благовест бунтов.

Рев крестьян оглашает зенит,

И кустов деревянный табун

Безлиственной ковкой звенит.

Что ей Петр? — Злой и дикой ораве? —

Только камень желанного случая,

Чтобы колья погромные правили

Над теми, кто грабил и мучил.

Каждый платит за лепту лептою,

Месть щенками кровавыми щенится.

Кто же скажет, что это свирепствуют

Бродяги и отщепенцы?

Это буйствуют россияне!

Я ж хочу научить их под хохот сабль

Обтянуть тот зловещий скелет парусами

И пустить его по безводным степям,

Как корабль.

А за ним

По курганам синим

Мы живых голов двинем бурливый флот.

……

……

Послушайте! Для всех отныне

Я — император Петр!

Казаки

Как император?

Оболяев

Он с ума сошел!

Пугачев

Ха-ха-ха!

Вас испугал могильщик,

Который, череп разложив как горшок,

Варит из медных монет щи,

Чтоб похлебать в черный срок.

Я стращать мертвецом вас не стану,

Но должны ж вы, должны понять,

Что этим кладбищенским планом

Мы подымем монгольскую рать!

Нам мало того простолюдства,

Которое в нашем краю,

Пусть калмык и башкирец бьются

За бараньи костры средь юрт!

Зарубин

Это верно, это верно, это верно!

Кой нам черт умышлять побег?

Лучше здесь всем им головы скверные

Обломать, как колеса с телег.

Будем крыть их ножами и матом,

Кто без сабли — так бей кирпичом!

Да здравствует наш император,

Емельян Иванович Пугачев!

Пугачев

Нет, нет, я для всех теперь

Не Емельян, а Петр…

Караваев

Да, да, не Емельян, а Петр…

Пугачев

Братья, братья, ведь каждый зверь

Любит шкуру свою и имя…

Тяжко, тяжко моей голове

Опушать себя чуждым инеем.

Трудно сердцу светильником мести

Освещать корявые чащи.

Знайте, в мертвое имя влезть —

То же, что в гроб смердящий.

Больно, больно мне быть Петром,

Когда кровь и душа Емельянова.

Человек в этом мире не бревенчатый дом,

Не всегда перестроишь наново…

Но… к черту все это, к черту!

Прочь жалость телячьих нег!

Нынче ночью в половине четвертого

Мы устроить должны набег.

5. Уральский каторжник

Хлопуша

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!

Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?

Проведите, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека.

Я три дня и три ночи искал ваш умёт,

Тучи с севера сыпались каменной грудой.

Слава ему! Пусть он даже не Петр!

Чернь его любит за буйство и удаль.

Я три дня и три ночи блуждал по тропам,

В солонце рыл глазами удачу,

Ветер волосы мои, как солому, трепал

И цепами дождя обмолачивал.

Но озлобленное сердце никогда не заблудится,

Эту голову с шеи сшибить нелегко.

Оренбургская заря красношерстной верблюдице

Рассветное роняла мне в рот молоко.

И холодное корявое вымя сквозь тьму

Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.

Проведите, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека.

Зарубин

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя!

Что тебе нужно в нашем лагере?

Отчего глаза твои,

Как два цепных кобеля,

Беспокойно ворочаются в соленой влаге?

Что пришел ты ему сообщить?

Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга?

Прорубились ли в Азию бунтовщики?

Иль, как зайцы, бегут от Оренбурга?

Хлопуша

Где он? Где? Неужель его нет?

Тяжелее, чем камни, я нес мою душу.

Ах, давно, знать, забыли в этой стране

Про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу.

Смейся, человек!

В ваш хмурый стан

Посылаются замечательные разведчики.

Был я каторжник и арестант,

Был убийца и фальшивомонетчик.

Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли, поздно ли,

Расставляет расплата капканы терний.

Заковали в колодки и вырвали ноздри

Сыну крестьянина Тверской губернии.

Десять лет —

Понимаешь ли ты, десять лет? —

То острожничал я, то бродяжил.

Это теплое мясо носил скелет

На общипку, как пух лебяжий.

Черта ль с того, что хотелось мне жить?

Что жестокостью сердце устало хмуриться?

Ах, дорогой мой,

Для помещика мужик —

Все равно что овца, что курица.

Ежедневно молясь на зари желтый гроб,

Кандалы я сосал голубыми руками…

Вдруг… три ночи назад… губернатор Рейнсдорп,

Как сорвавшийся лист,

Взлетел ко мне в камеру…

«Слушай, каторжник!

(Так он сказал.)

Лишь тебе одному поверю я.

Там в ковыльных просторах ревет гроза,

От которой дрожит вся империя,

Там какой-то пройдоха, мошенник и вор

Вздумал вздыбить Россию ордой грабителей,

И дворянские головы сечет топор —

Как березовые купола

В лесной обители.

Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож?

(Так он сказал, так он сказал мне.)

Вот за эту услугу ты свободу найдешь

И в карманах зазвякает серебро, а не камни».

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,

Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.

Проведите ж, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека!

Зарубин

Странный гость.

Подуров

Подозрительный гость.

Зарубин

Как мы можем тебе довериться?

Подуров

Их немало, немало, за червонцев горсть

Готовых пронзить его сердце.

Хлопуша

Ха-ха-ха!

Это очень неглупо.

Вы надежный и крепкий щит.

Только весь я до самого пупа —

Местью вскормленный бунтовщик.

Каплет гноем смола прогорклая

Из разодранных ребер изб.

Завтра ж ночью я выбегу волком

Человеческое мясо грызть.

Все равно ведь, все равно ведь, все равно ведь,

Не сожрешь — так сожрут тебя ж.

Нужно вечно держать наготове

Эти руки для драки и краж.

Верьте мне!

Я пришел к вам как друг.

Сердце радо в пурге расколоться

Оттого, что без Хлопуши

Вам не взять Оренбург

Даже с сотней лихих полководцев.

Зарубин

Так открой нам, открой, открой

Тот план, что в тебе хоронится.

Подуров

Мы сейчас же, сейчас же пошлем тебя в бой

Командиром над нашей конницей.

Хлопуша

Нет!

Хлопуша не станет биться.

У Хлопуши другая мысль.

Он хотел бы, чтоб гневные лица

Вместе с злобой умом налились.

Вы бесстрашны, как хищные звери,

Грозен лязг ваших битв и побед,

Но ведь все ж у вас нет артиллерии?

Но ведь все ж у вас пороху нет?

Ах, в башке моей, словно в бочке,

Мозг, как спирт, хлебной едкостью лют.

Знаю я, за Сакмарой рабочие

Для помещиков пушки льют.

Там найдется и порох, и ядра,

И наводчиков зоркая рать,

Только надо сейчас же, не откладывая,

Всех крестьян в том краю взбунтовать.

Стыдно медлить здесь, стыдно медлить,

Гнев рабов — не кобылий фырк…

Так давайте ж по липовой меди

Трахнем вместе к границам Уфы.

6. В стане Зарубина

Зарубин

Эй ты, люд честной да веселый,

Забубенная трын-трава!

Подружилась с твоими селами

Скуломордая татарва.

Свищут кони, как вихри, по полю,

Только взглянешь — и след простыл.

Месяц, желтыми крыльями хлопая,

Раздирает, как ястреб, кусты.

Загляжусь я по ровной голи

В синью стынущие луга,

Не березовая ль то Монголия?

Не кибитки ль киргиз — стога?..

Слушай, люд честной, слушай, слушай

Свой кочевнический пересвист!

Оренбург, осажденный Хлопушей,

Ест лягушек, мышей и крыс.

Треть страны уже в наших руках,

Треть страны мы как войско выставили.

Нынче ж в ночь потеряет враг

По Приволжью все склады и пристани.

Шигаев

Стоп, Зарубин!

Ты, наверное, не слыхал,

Это видел не я…

Другие…

Многие…

Около Самары с пробитой башкой ольха,

Капая желтым мозгом,

Прихрамывает при дороге.

Словно слепец, от ватаги своей отстав,

С гнусавой и хриплой дрожью

В рваную шапку вороньего гнезда

Просит она на пропитанье

У проезжих и у прохожих.

Но никто ей не бросит даже камня.

В испуге крестясь на звезду,

Все считают, что это страшное знамение,

Предвещающее беду.

Что-то будет.

Что-то должно случиться.

Говорят, наступит глад и мор,

По сту раз на лету будет склевывать птица

Желудочное свое серебро.

Торнов

Да-да-да!

Что-то будет!

Повсюду

Воют слухи, как псы у ворот,

Дует в души суровому люду

Ветер сырью и вонью болот.

Быть беде!

Быть великой потере!

Знать, не зря с луговой стороны

Луны лошадиный череп.

Каплет золотом сгнившей слюны.

Зарубин

Врете! Врете вы,

Нож вам в спины!

С детства я не видал в глаза,

Чтоб от этакой чертовщины

Хуже бабы дрожал казак.

Шигаев

Не дрожим мы, ничуть не дрожим!

Наша кровь — не башкирские хляби.

Сам ты знаешь ведь, чьи ножи

Пробивали дорогу в Челябинск.

Сам ты знаешь, кто брал Осу,

Кто разбил наголо Сарапуль.

Столько мух не сидело у тебя на носу,

Сколько пуль в наши спины вцарапали.

В стужу ль, в сырость ли,

В ночь или днем —

Мы всегда наготове к бою,

И любой из нас больше дорожит конем,

Чем разбойной своей головою.

Но кому-то грозится, грозится беда,

И ее ль казаку не слышать?

Посмотри, вон сидит дымовая труба,

Как наездник, верхом на крыше.

Вон другая, вон третья,

Не счесть их рыл

С залихватской тоской остолопов,

И весь дикий табун деревянных кобыл

Мчится, пылью клубя, галопом.

Ну куда ж он? Зачем он?

Каких дорог

Оголтелые всадники ищут?

Их стегает, стегает переполох

По стеклянным глазам кнутовищем.

Зарубин

Нет, нет, нет!

Ты не понял…

То слышится звань,

Звань к оружью под каждой оконницей.

Знаю я, нынче ночью идет на Казань

Емельян со свирепой конницей.

Сам вчера, от восторга едва дыша,

За горой в предрассветной мгле

Видел я, как тянулись за Черемшан

С артиллерией тысчи телег.

Как торжественно с хрипом колесным обоз

По дорожным камням грохотал.

Рев верблюдов сливался с блеянием коз

И с гортанною речью татар.

Торнов

Что ж, мы верим, мы верим,

Быть может,

Как ты мыслишь, все так и есть;

Голос гнева, с бедою схожий,

Нас сзывает на страшную месть.

Дай бог!

Дай бог, чтоб так и сталось.

Зарубин

Верьте, верьте!

Я вам клянусь!

Не беда, а нежданная радость

Упадет на мужицкую Русь.

Вот вззвенел, словно сабли о панцири,

Синий сумрак над ширью равнин.

Даже рощи —

И те повстанцами

Подымают хоругви рябин.

Зреет, зреет веселая сеча.

Взвоет в небо кровавый туман.

Гулом ядер и свистом картечи

Будет завтра их крыть Емельян.

И чтоб бунт наш гремел безысходней,

Чтоб вконец не сосала тоска, —

Я сегодня ж пошлю вас, сегодня,

На подмогу его войскам.

7. Ветер качает рожь

Чумаков

Что это? Как это? Неужель мы разбиты?

Сумрак голодной волчицей выбежал кровь зари лакать.

О эта ночь! Как могильные плиты,

По небу тянутся каменные облака.

Выйдешь в поле, зовешь, зовешь,

Кличешь старую рать, что легла под Сарептой,

И глядишь и не видишь — то ли зыбится рожь,

То ли желтые полчища пляшущих скелетов.

Нет, это не август, когда осыпаются овсы,

Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой.

Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы,

Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы.

Сорок тысяч нас было, сорок тысяч,

И все сорок тысяч за Волгой легли, как один.

Даже дождь так не смог бы траву иль солому высечь,

Как осыпали саблями головы наши они.

Что это? Как это? Куда мы бежим?

Сколько здесь нас в живых осталось?

От горящих деревень бьющий лапами в небо дым

Расстилает по земле наш позор и усталость.

Лучше б было погибнуть нам там и лечь,

Где кружит воронье беспокойным, зловещим свадьбищем,

Чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч,

Чем нести это тело с гробами надежд, как кладбище!

Бурнов

Нет! Ты не прав, ты не прав, ты не прав!

Я сейчас чувством жизни, как никогда, болен.

Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркаться по золоту трав

И сшибать черных галок с крестов голубых колоколен.

Все, что отдал я за свободу черни,

Я хотел бы вернуть и поверить снова,

Что вот эту луну,

Как керосиновую лампу в час вечерний,

Зажигает фонарщик из города Тамбова.

Я хотел бы поверить, что эти звезды — не звезды,

Что это — желтые бабочки, летящие на лунное пламя…

Друг!..

Зачем же мне в душу ты ропотом слезным

Бросаешь, как в стекла часовни, камнем?

Чумаков

Что жалеть тебе смрадную холодную душу —

Околевшего медвежонка в тесной берлоге?

Знаешь ли ты, что в Оренбурге зарезали Хлопушу?

Знаешь ли ты, что Зарубин в Табинском остроге?

Наше войско разбито вконец Михельсоном,

Калмыки и башкиры удрали к Аральску в Азию.

Не с того ли так жалобно

Суслики в поле притоптанном стонут,

Обрызгивая мертвые головы, как кленовые листья, грязью?

Гибель, гибель стучит по деревням в колотушку.

Кто ж спасет нас? Кто даст нам укрыться?

Посмотри! Там опять, там опять за опушкой

В воздух крылья крестами бросают крикливые птицы.

Бурнов

Нет, нет, нет! Я совсем не хочу умереть!

Эти птицы напрасно над нами вьются.

Я хочу снова отроком, отряхая с осинника медь,

Подставлять ладони, как белые скользкие блюдца.

Как же смерть?

Разве мысль эта в сердце поместится,

Когда в Пензенской губернии у меня есть свои дом?

Жалко солнышко мне, жалко месяц,

Жалко тополь над низким окном.

Только для живых ведь благословенны

Рощи, потоки, степи и зеленя.

Слушай, плевать мне на всю вселенную,

Если завтра здесь не будет меня!

Я хочу жить, жить, жить,

Жить до страха и боли!

Хоть карманником, хоть золоторотцем,

Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле,

Лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют в колодце.

Яблоневым цветом брызжется душа моя белая,

В синее пламя ветер глаза раздул.

Ради бога, научите меня,

Научите меня, и я что угодно сделаю,

Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечьем саду!

Творогов

Стойте! Стойте!

Если б знал я, что вы не трусливы,

То могли б мы спастись без труда.

Никому б не открыли наш заговор безъязыкие ивы,

Сохранила б молчанье одинокая в небе звезда.

Не пугайтесь!

Не пугайтесь жестокого плана,

Это не тяжелее, чем хруст ломаемых в теле костей,

Я хочу предложить вам

Связать на заре Емельяна

И отдать его в руки грозящих нам смертью властей.

Чумаков

Как, Емельяна?

Бурнов

Нет! Нет! Нет!

Творогов

Хе-хе-хе!

Вы глупее, чем лошади!

Я уверен, что завтра ж,

Лишь золотом плюнет рассвет,

Вас развесят солдаты, как туш, на какой-нибудь площади,

И дурак тот, дурак, кто жалеть будет вас,

Оттого что сами себе вы придумали тернии.

Только раз ведь живем мы, только раз!

Только раз светит юность, как месяц в родной губернии.

Слушай, слушай, есть дом у тебя на Суре,

Там в окно твое тополь стучится багряными листьями,

Словно хочет сказать он хозяину в хмурой октябрьской поре,

Что изранила его осень холодными меткими выстрелами.

Как же сможешь ты тополю помочь?

Чем залечишь ты его деревянные раны?

Вот такая же жизни осенняя гулкая ночь

Общипала, как тополь зубами дождей, Емельяна.

Знаю, знаю, весной, когда лает вода,

Тополь снова покроется мягкой зеленой кожей.

Но уж старые листья на нем не взойдут никогда —

Их растащит зверье и потопчут прохожие.

Что мне в том, что сумеет Емельян скрыться в Азию?

Что, набравши кочевников, может снова удариться в бой?

Все равно ведь и новые листья падут и покроются грязью.

Слушай, слушай, мы старые листья с тобой!

Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях?

Лучше оторваться и броситься в воздух кружиться,

Чем лежать и струить золотое гниенье в полях,

Чем глаза твои выклюют черные хищные птицы.

Тот, кто хочет за мной — в добрый час!

Нам башка Емельяна — как челн

Потопающим в дикой реке.

Только раз ведь живем мы, только раз!

Только раз славит юность, как парус, луну вдалеке.

8. Конец Пугачева

Пугачев

Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!

Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Злые рты, как с протухшею пищей кошли,

Зловонно рыгают бесстыдной ложью.

Трижды проклят тот трус, негодяй и злодей,

Кто сумел окормить вас такою дурью.

Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей

И попасть до рассвета со мною в Гурьев.

Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде,

Но затем-то и злей над туманною вязью

Деревянными крыльями по каспийской воде

Наши лодки заплещут, как лебеди, в Азию.

О Азия, Азия! Голубая страна,

Обсыпанная солью, песком и известкой.

Там так медленно по небу едет луна,

Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.

Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо

Скачут там шерстожелтые горные реки?

Не с того ли так свищут монгольские орды

Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

Уж давно я, давно я скрывал тоску

Перебраться туда, к их кочующим станам,

Чтоб разящими волнами их сверкающих скул

Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.

Так какой же мошенник, прохвост и злодей

Окормил вас бесстыдной трусливой дурью?

Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей

И попасть до рассвета со мною в Гурьев.

Крямин

О смешной, о смешной, о смешной Емельян!

Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый;

Расплескалась удаль твоя по полям,

Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.

Знаем мы, знаем твой монгольский народ,

Нам ли храбрость его не известна?

Кто же первый, кто первый, как не этот сброд

Под Сакмарой ударился в бегство?

Как всегда, как всегда, эта дикая гнусь

Выбирала для жертвы самых слабых и меньших,

Только б грабить и жечь ей пограничную Русь

Да привязывать к седлам добычей женщин.

Ей всегда был приятней набег и разбой,

Чем суровые походы с житейской хмурью.

……

Нет, мы больше не можем идти за тобой,

Не хотим мы ни в Азию, ни на Каспий, ни в Гурьев.

Пугачев

Боже мой, что я слышу?

Казак, замолчи!

Я заткну твою глотку ножом иль выстрелом…

Неужели и вправду отзвенели мечи?

Неужель это плата за все, что я выстрадал?

Нет, нет, нет, не поверю, не может быть!

Не на то вы взрастали в степных станицах,

Никакие угрозы суровой судьбы

Не должны вас заставить смириться.

Вы должны разжигать еще больше тот взвой,

Когда ветер метелями с наших стран дул…

Смело ж к Каспию! Смело за мной!

Эй вы, сотники, слушать команду!

Крямин

Нет! Мы больше не слуги тебе!

Нас не взманит твое сумасбродство.

Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе

Лечь, как толпы других, по погостам.

Есть у сердца невзгоды и тайный страх

От кровавых раздоров и стонов.

Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах

Слушать шум тополей и кленов.

Есть у нас роковая зацепка за жизнь,

Что прочнее канатов и проволок…

Не пора ли тебе, Емельян, сложить

Перед властью мятежную голову?!

Все равно то, что было, назад не вернешь,

Знать, недаром листвою октябрь заплакал…

Пугачев

Как? Измена?

Измена?

Ха-ха-ха!..

Ну так что ж!

Получай же награду свою, собака!

(Стреляет.)

Крямин падает мертвым. Казаки с криком обнажают сабли.

Пугачев, отмахиваясь кинжалом, пятится к стене.

Голоса

Вяжите его! Вяжите!

Творогов

Бейте! Бейте прямо саблей в морду!

Первый голос

Натерпелись мы этой прыти…

Второй голос

Тащите его за бороду…

Пугачев

…Дорогие мои… Хор-рошие…

Что случилось? Что случилось? Что случилось?

Кто так страшно визжит и хохочет

В придорожную грязь и сырость?

Кто хихикает там исподтишка,

Злобно отплевываясь от солнца?

……

…Ах, это осень!

Это осень вытряхивает из мешка

Чеканенные сентябрем червонцы.

Да! Погиб я!

Приходит час…

Мозг, как воск, каплет глухо, глухо…

…Это она!

Это она подкупила вас,

Злая и подлая оборванная старуха.

Это она, она, она,

Разметав свои волосы зарею зыбкой,

Хочет, чтоб сгибла родная страна

Под ее невеселой холодной улыбкой.

Творогов

Ну, рехнулся… чего ж глазеть?

Вяжите!

Чай, не выбьет стены головою.

Слава богу! конец его зверской резне,

Конец его злобному волчьему вою.

Будет ярче гореть теперь осени медь,

Мак зари черпаками ветров не выхлестать.

Торопитесь же!

Нужно скорей поспеть

Передать его в руки правительства.

Пугачев

Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?

Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться!

Юность, юность! Как майская ночь,

Отзвенела ты черемухой в степной провинции.

Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном,

Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц.

Золотою известкой над низеньким домом

Брызжет широкий и теплый месяц.

Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух,

В рваные ноздри пылью чихнет околица,

И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг,

Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.

Боже мой!

Неужели пришла пора?

Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?

А казалось… казалось еще вчера…

Дорогие мои… дорогие… хор-рошие…

Март — август 1921

ЛЕНИН[130]

Отрывок из поэмы «Гуляй-поле»

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.
Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.
Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.
Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?
Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна,
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось…
Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор.
……

Россия —

Страшный, чудный звон.

В деревьях березь, в цветь — подснежник.

Откуда закатился он,

Тебя встревоживший мятежник?

Суровый гений! Он меня

Влечет не по своей фигуре.

Он не садился на коня

И не летел навстречу буре.

Сплеча голов он не рубил,

Не обращал в побег пехоту.

Одно в убийстве он любил —

Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,

Мы любим тех, что в черных масках,

А он с сопливой детворой

Зимой катался на салазках.

И не носил он тех волос,

Что льют успех на женщин томных,—

Он с лысиною, как поднос,

Глядел скромней из самых скромных.

Застенчивый, простой и милый,

Он вроде сфинкса предо мной.

Я не пойму, какою силой

Сумел потрясть он шар земной?

Но он потряс…

Шуми и вей!

Крути свирепей, непогода,

Смывай с несчастного народа

Позор острогов и церквей.

……

Была пора жестоких лет,

Нас пестовали злые лапы.

На поприще крестьянских бед

Цвели имперские сатрапы.

……

Монархия! Зловещий смрад!

Веками шли пиры за пиром,

И продал власть аристократ

Промышленникам и банкирам.

Народ стонал, и в эту жуть

Страна ждала кого-нибудь…

И он пришел.

……

Он мощным словом

Повел нас всех к истокам новым.

Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,

Берите всё в рабочьи руки.

Для вас спасенья больше нет —

Как ваша власть и ваш Совет».

……

И мы пошли под визг метели,

Куда глаза его глядели:

Пошли туда, где видел он

Освобожденье всех племен…

……

И вот он умер…

Плач досаден.

Не славят музы голос бед.

Из меднолающих громадин

Салют последний даден, даден.

Того, кто спас нас, больше нет.

Его уж нет, а те, кто вживе,

А те, кого оставил он,

Страну в бушующем разливе

Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:

«Ленин умер!»

Их смерть к тоске не привела.

……

Еще суровей и угрюмей

Они творят его дела…

1924

ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ[131]

Эй вы, встречные,

Поперечные!

Тараканы, сверчки

Запечные.

Не народ, а дрохва

Подбитая!

Русь нечесаная,

Русь немытая.

Вы послушайте

Новый вольный сказ,

Новый вольный сказ

Про житье у нас.

Первый сказ о том,

Что давно было.

А второй — про то,

Что сейчас всплыло.

Для тебя я, Русь,

Эти сказы спел,

Потому что был

И правдив и смел.

Был мастак слагать

Эти притчины,

Не боясь ничьей

Зуботычины.

Ой, во городе

Да во Ипатьеве

При Петре было,

При императоре.

Говорил слова

Непутевый дьяк:

«Уж и как у нас, ребята,

Стал быть, царь дурак.

Царь дурак-батрак

Сопли жмет в кулак,

Строит Питер-град

На немецкий лад.

Видно, делать ему

Больше нечего,

Принялся он Русь

Онемечивать.

Бреет он князьям

Брады, усие, —

Как не плакаться

Тут над Русию?

Не тужить тут как

Над судьбиною?

Непослушных он

Бьет дубиною».

Услыхал те слова

Молодой стрелец.

Хвать смутьянщика

За тугой косец.

«Ты иди, ползи,

Не кочурься, брат.

Я свезу тебя

Прямо в Питер-град.

Привезу к царю,

Кайся, сукин кот!

Кайся, сукин кот,

Что смущал народ!»

По Тверской-Ямской

Под дугою вбряк

С колокольцами

Ехал бедный дьяк.

На четвертый день,

О полдневых пор,

Прикатил наш дьяк

Ко царю во двор.

Выходил тут царь

С высока крыльца,

Мах-дубинкою

Подозвал стрельца.

«Ты скажи, зачем

Прикатил, стрелец?

Аль с Москвы какой

Потайной гонец?»

«Не гонец я, царь,

Не родня с Москвой.

Я всего лишь есть

Слуга верный твой.

Я привез к тебе

Бунтаря-дьяка.

У него, знать, в жисть

Не болят бока.

В кабаке на весь

На честной народ

Он позорил, царь,

Твой высокий род».

«Ну, — сказал тут Петр, —

Вылезай-кось, вошь!»

Космы дьяковы

Поднялись, как рожь.

У Петра с плеча

Сорвался кулак…

И навек задрал

Лапти кверху дьяк.

У Петра был двор,

На дворе был кол,

На колу — мочало.

Это только, ребята,

Начало.

Ой, суров наш царь,

Алексеич Петр.

Он в единый дух

Ведро пива пьет.

Курит — дым идет

На три сажени,

Во немецких одеждах

Разнаряженный.

Возговорит наш царь

Алексеич Петр:

«Подойди ко мне,

Дорогой Лефорт.

Мастер славный ты:

В Амстердаме был.

Русский царь тебе,

Как батрак, служил.

Он учился там,

Как топор держать.

Ты езжай-кось, мастер,

В Амстердам опять.

Передай ты всем

От Петра поклон.

Да скажи, что сейчас

В страшной доле он.

В страшной доле я

За родную Русь…

Скоро смерть придет,

Помирать боюсь.

Помирать боюсь,

Да и жить не рад:

Кто ж теперь блюсти

Будет Питер-град?

Средь туманов сих

И цепных болот

Снится сгибший мне

Трудовой народ.

Слышу, голос мне

По ночам звенит,

Что на их костях

Лег тугой гранит.

Оттого подчас,

Обступая град,

Мертвецы встают

В строевой парад.

И кричат они,

И вопят они.

От такой крични

Загашай огни.

Говорят слова:

«Мы всему цари!

Попадешься, Петр,

Лишь сумей помри.

Мы сдерем с тебя

Твой лихой чупрын,

Потому что ты

Был собачий сын.

Поблажал ты знать

Со министрами.

На крови для них

Город выстроил.

Но пускай за то

Знает каждый дом —

Мы придем еще,

Мы придем, придем!

Этот город наш,

Потому и тут

Только может жить

Лишь рабочий люд».

Смолк наш царь

Алексеич Петр,

В три ручья с него

Льет холодный пот.

Слушайте, слушайте,

Вы, конечно, народ

Хороший,

Хоть метелью вас крои,

Хоть порошей.

Одним словом,

Миляги!

Не дадите ли

Ковшик браги?

Человечий язык,

Чай, не птичий.

Славный вы, люди,

Придумали

Обычай.

И пушки бьют,

И колокола плачут.

Вы, конечно, понимаете,

Что это значит?

Много было роз,

Много было маков.

Схоронили Петра,

Тяжело оплакав.

И с того ль, что там

Всякий сволок был,

Кто всерьез рыдал,

А кто глаза слюнил.

Но с того вот дня

Да на двести лет

Дуракам-царям

Прямо счету нет.

И все двести лет

Шел подземный гуд:

«Мы придем, придем!

Мы возьмем свой труд.

Мы сгребем дворян

Да по плеши им,

На фонарных столбах

Перевешаем!»

Через двести лет,

В снеговой октябрь,

Затряслась Нева,

Подымая рябь.

Утром встал народ

И на бурю глядь:

На столбах висит

Сволочная знать.

Ай да славный люд!

Ай да Питер-град!

Но с чего же там

Пушки бьют-палят?

Бьют за городом,

Бьют из-за моря,

Понимай как хошь

Ты, душа моя!

Много в эти дни

Совершилось дел.

Я пою о них,

Как спознать сумел.

Веселись, душа

Молодецкая.

Нынче наша власть,

Власть советская.

Офицерика

Да голубчика

Прикокошили

Вчера в Губчека.

……

Гаркнул «Яблочко»

Молодой матрос:

«Мы не так еще

Подотрем вам нос!»

А за Явором,

Под Украйною,

Услыхали мужики

Весть печальную.

Власть советская

Им очень нравится,

Да идут войска

С ней расправиться.

В тех войсках к мужикам

Родовая месть.

И Врангель тут,

И Деникин здесь.

А на помог им,

Как лихих волчат,

Из Сибири шлет отряды

Адмирал Колчак.

Ах, рыбки мои,

Мелки косточки!

Вы, крестьянские ребята,

Подросточки.

Ни ногатой вас не взять,

Ни резанами,[132]

Вы гольем пошли гулять

С партизанами.

Красной Армии штыки

В поле светятся.

Здесь отец с сынком

Могут встретиться.

За один удел

Бьется эта рать,

Чтоб владеть землей

Да весь век пахать,

Чтоб шумела рожь

И овес звенел,

Чтобы каждый калачи

С пирогами ел.

Ну и как же тут злобу

Не вынашивать?

На Дону теперь поют

Не по-нашему:

«Пароход идет

Мимо пристани.

Будем рыбу кормить

Коммунистами».

А у нас для них поют:

«Куда ты котишься?

В Вечека попадешь —

Не воротишься».

От одной беды

Целых три растут, —

Вдруг над Питером

Слышен новый гуд.

Не поймет никто,

Отколь гуд идет:

«Ты не смей дремать,

Трудовой народ,

Как под Питером

Рать Юденича».

Что же делать нам

Всем теперича?

И оттуда бьют,

И отсель палят —

Ой ты, бедный люд,

Ой ты, Питер-град!

…….

Дождик лил тогда

В три погибели.

На корню дожди

Озимь выбили.

И на энтот год

Не шумела рожь.

То не жизнь была,

А в печенки нож.

……

А за синим Доном,

Станицы казачьей,

В это время волк ехидный

По-кукушьи плачет.

Говорит Корнилов

Казакам поречным:

«Угостите партизанов

Вишеньем картечным.

С Красной Армией Деникин

Справится, я знаю.

Расстелились наши пики

С Дона до Дунаю».

……

Вей сильней и крепче,

Ветер синь-студеный.

С нами храбрый Ворошилов,

Удалой Буденный.

Если крепче жмут,

То сильней орешь.

Мужику одно:

Не топтали б рожь.

А как пошла по ней

Тут рать Деникина —

В сотни верст легла

Прямо в никь она.

Над такой бедой

В стане белых ржут.

Валят сельский скот

И под водку жрут.

Мнут крестьянских жен,

Девок лапают.

«Так и надо вам,

Сиволапые!

Ты, мужик, прохвост!

Сволочь, бестия!

Отплати-кось нам

За поместия.

Отплати за то,

Что ты вешал знать.

Эй, в кнуты их всех,

Растакую мать».

Ой ты, синяя сирень,

Голубой палисад!

На родимой стороне

Никто жить не рад.

Опустели огороды,

Хаты брошены,

Заливные луга

Не покошены.

И примят овес,

И прибита рожь. —

Где ж теперь, мужик,

Ты приют найдешь?

Но сильней всего

Те встревожены,

Что ночьми не спят

В куртках кожаных,

Кто за бедный люд

Жить и сгибнуть рад,

Кто не хочет сдать

Вольный Питер-град.

Там под Лиговом

Страшный бой кипит.

Питер траурный

Без огней. Не спит.

Миг — и вот сейчас

Враг проломит все,

И прощай мечта

Городов и сел…

Пот и кровь струит

С лиц встревоженных.

Бьют и бьют людей

В куртках кожаных.

Как снопы, лежат

Трупы по полю.

Кони в страхе ржут,

В страхе топают.

Но напор от нас

Все сильней, сильней.

Бьются восемь дней,

Бьются девять дней…

На десятый день

Не сдержался враг…

И пошел чесать

По кустам в овраг.

Наши взад им: «Крой!»

Пушки бьют, палят…

Ай да славный люд!

Ай да Питер-град!

А за Белградом,

Окол Харькова,

Кровью ярь мужиков

Перехаркана.

Бедный люд в Москву

Босиком бежит.

И от стона, и от рева

Вся земля дрожит.

Ищут хлеба они,

Просят милости,

Ну и как же злобной воле

Тут не вырасти?

У околицы

Гуляй-полевой

Собиралися

Буйны головы.

Да как стали жечь,

Как давай палить.

У Деникина

Аж живот болит.

Эх, песня,

Песня!

Есть ли что на свете

Чудесней?

Хоть под гусли тебя пой,

Хоть под тальяночку.

Не дадите ли вы мне,

Хлопцы,

Еще баночку?

Ах, яблочко,

Цвета милого!

Бьют Деникина,

Бьют Корнилова.

Цветочек мой,

Цветик маковый.

Ты скорей, адмирал,

Отколчакивай.

Там за степью гул,

Там за степью гром,

Каждый в битве защищает

Свой отцовский дом.

Курток кожаных

Под Донцом не счесть.

Видно, много в Петрограде

Этой масти есть.

В белом стане вопль,

В белом стане стон:

Обступает наша рать

Их со всех сторон.

В белом стане крик,

В белом стане бред.

Как пожар стоит

Золотой рассвет.

И во всех кабаках

Огни светятся…

Завтра многие друг с другом

Уж не встретятся.

И все пьют за царя,

За святую Русь,

В ласках знатных шлюх

Забывая грусть.

В красном стане храп,

В красном стане смрад.

Вонь портяночная

От сапог солдат.

Завтра, еле свет,

Нужно снова в бой.

Спи, корявый мой!

Спи, хороший мой!

Пусть вас золотом

Свет зари кропит.

В куртке кожаной

Коммунар не спит.

На заре, заре

В дождевой крутень

Свистом ядерным

Мы встречали день.

Подымая вверх,

Как тоску, глаза,

В куртке кожаной

Коммунар сказал:

«Братья, если здесь

Одолеют нас,

То октябрьский свет

Навсегда погас.

Будет крыть нас кнут,

Будет крыть нас плеть,

Всем весь век тогда

В нищете корпеть».

С горьким гневом рук,

Утерев слезу,

Ротный наш с тех слов

Сапоги разул.

Громко кашлянув,

«На, — сказал он мне, —

Дома нет сапог,

Передай жене».

На заре, заре

В дождевой крутень

Свистом ядерным

Мы сушили день.

Пуля входит в грудь,

Как пчелы ужал.

Наш отряд тогда

Впереди бежал.

За лощиной пруд,

А за прудом лог.

Коммунар ничком

В землю носом лег.

Мы вперед, вперед!

Враг назад, назад!

Мертвецы пусть так

Под дождем лежат.

Спите, храбрые,

С отзвучавшим ртом!

Мы придем вас всех

Хоронить потом.

Вот и кончен бой,

Машет красный флаг.

Не жалея пят,

Удирает враг.

Удивленный тем,

Что остался цел,

Молча ротный наш

Сапоги надел.

И сказал: «Жене

Сапоги не враз,

Я их сам теперь

Износить горазд».

Вот и кончен бой,

Тот, кто жив, тот рад.

Ай да вольный люд!

Ай да Питер-град!

От полуночи

До синя утра

Над Невой твоей

Бродит тень Петра.

Бродит тень Петра,

Грозно хмурится

На кумачный цвет

В наших улицах.

В берег бьет вода

Пенной индевью…

Корабли плывут

Будто в Индию…

<1924>

ПОЭМА О 36[133]

Много в России
Троп.
Что ни тропа —
То гроб.
Что ни верста —
То крест.
До енисейских мест
Шесть тысяч один
Сугроб.
Синий уральский
Ском
Каменным лег
Мешком,
За скомом шумит
Тайга.
Коль вязнет в снегу
Нога,
Попробуй идти
Пешком.
Добро, у кого
Закал,
Кто знает сибирский
Шквал.
Но если ты слаб
И лег,
То, тайно пробравшись
В лог,
Тебя отпоет
Шакал.

Буря и грозный

Вой.

Грузно бредет

Конвой.

Ружья наперевес.

Если ты хочешь

В лес,

Не дорожи

Головой.

Ссыльный солдату

Не брат.

Сам подневолен

Солдат.

Если не взял

На прицел,—

Завтра его

Под расстрел.

Но ты не иди

Назад.

Пусть умирает

Тот,

Кто брата в тайгу

Ведет.

А ты под кандальный

Дзин

Шпарь, как седой

Баргузин.

Беги все вперед

И вперед.

Там за Уралом

Дом.

Степь и вода

Кругом.

В синюю гладь

Окна

Скрипкой поет

Луна.

Разве так плохо

В нем?

Славный у песни

Лад.

Мало ли кто ей

Рад.

Там за Уралом

Клен.

Всякий ведь в жизнь

Влюблен

В лунном мерцанье

Хат.

Если ж, где отчая

Весь,

Стройная девушка

Есть,

Вся как сиреневый

Май,

Вся как родимый

Край,—

Разве не манит

Песнь?

Буря и грозный

Вой.

Грузно бредет

Конвой.

Ружья наперевес.

Если ты хочешь

В лес,

Не дорожи

Головой.

Колкий, пронзающий

Пух.

Тяжко идти средь

Пург.

Но под кандальный

Дзень,

Если ты любишь

День,

Разве милей

Шлиссельбург?

Там, упираясь

В дверь,

Ходишь, как в клетке

Зверь.

Дума всегда

Об одном:

Может, в краю

Родном

Стало не так

Теперь.

Может, под песню

Вьюг

Умер последний

Друг.

Друг или мать,

Все равно.

Хочется вырвать

Окно

И убежать в луг.

Но долог тюремный

Час.

Зорок солдатский

Глаз.

Если ты хочешь

Знать,

Как тяжело

Убежать,—

Я знаю один

Рассказ.

Их было тридцать

Шесть.

В камере негде

Сесть.

В окнах бурунный

Вспург.

Крепко стоит

Шлиссельбург,

Море поет ему

Песнь.

Каждый из них

Сидел

За то, что был горд

И смел,

Что в гневной своей

Тщете

К рыдающим в нищете

Большую любовь

Имел.

Ты помнишь, конечно,

Тот

Клокочущий пятый

Год,

Когда из-за стен

Баррикад

Целился в брата

Брат.

Тот в голову, тот

В живот.

Один защищал

Закон —

Невольник, влюбленный

В трон.

Другой этот трон

Громил,

И брат ему был

Не мил.

Ну, разве не прав был

Он?

Ты помнишь, конечно,

Как

Нагайкой свистел

Казак?

Тогда у склоненных

Ниц

С затылков и поясниц

Капал горячий

Мак.

Я знаю, наверно,

И ты

Видал на снегу

Цветы.

Ведь каждый мальчишкой

Рос,

Каждому били

Нос

В кулачной на все

«Сорты».

Но тех я цветов

Не видал,

Был еще глуп

И мал,

И не читал еще

Книг.

Но если бы видел

Их,

То разве молчать

Стал?

Их было тридцать

Шесть.

В каждом кипела

Месть.

Каждый оставил

Дом

С ивами над прудом,

Но не забыл о нем

Песнь.

Раз комендант

Сказал:

«Тесен для вас

Зал.

Пять я таких

Приму

В камеру по одному,

Тридцать один —

На вокзал».

Поле и снежный

Звон.

Клетчатый мчится

Вагон.

Рельсы грызет

Паровоз.

Разве уместен

Вопрос:

Куда их доставит

Он?

Много в России

Троп.

Что ни тропа —

То гроб.

Что ни верста —

То крест.

До енисейских мест

Шесть тысяч один

Сугроб.

Поезд на всех

Парах.

В каждом неясный

Страх.

Видно, надев

Браслет,

Гонят на много

Лет

Золото рыть

В горах.

Может случиться

С тобой[134]

То, что достанешь

Киркой,

Дочь твоя там,

Вдалеке,

Будет на левой

Руке

Перстень носить

Золотой.

Поле и снежный

Звон.

Клетчатый мчится

Вагон.

Вдруг тридцать первый

Встал

И шепотом так сказал:

«Нынче мне ночь

Не в сон.

Нынче мне в ночь

Не лежать.

Я твердо решил

Бежать.

Благо, что ночь

Не в луне.

Вы помогите

Мне

Тело мое

Поддержать,

Клетку уж я

Пилой…

Выручил снежный

Вой.

Вы заградите меня

Подле окна

От огня,

Чтоб не видал

Конвой».

Тридцать столпились

Вряд,

Будто о чем

Говорят,

Будто глядят

На снег.

Разве так труден

Побег,

Если огни

Не горят?

Их оставалось

Пять.

Каждый имел

Кровать.

В окнах бурунный

Вспург.

Крепко стоит

Шлиссельбург.

Только в нем плохо

Спать.

Разве тогда

Уснешь,

Если все видишь

Рожь,

Видишь родной

Плетень,

Синий, звенящий

День,

И ты по меже

Идешь?

Тихий вечерний

Час.

Колокол бьет

Семь раз.

Месяц широк

И ал.

Так бы дремал

И дремал,

Не подымая глаз.

Глянешь, на окнах

Пух.

Скучный, несчастный

Друг,

Ночь или день,

Все равно.

Хочется вырвать

Окно

И убежать в луг.

Пятый страдать

Устал.

Где-то подпилок

Достал.

Ночью скребет

И скребет,

Капает с носа

Пот

Через губу в оскал.

Раз при нагрузке

Дров

Он поскользнулся

В ров…

Смотрят, уж он

На льду,

Что-то кричит

На ходу.

Крикнул — и будь

Здоров.

Быстро бегут

Дни.

День колесу

Сродни.

Снежной январской

Порой

В камере сорок

Второй

Встретились вновь

Они.

Пятому глядя

В глаза,

Тридцать первый

Сказал:

«Там, где струится

Обь,

Есть деревушка

Топь

И очень хороший

Вокзал.

В жизни живут лишь

Раз,

Я вспоминать

Не горазд.

Глупый сибирский

Чалдон,

Скуп, как сто дьяволов,

Он.

За пятачок продаст.

Снежная белая

Гладь.

Нечего мне

Вспоминать.

Знаю одно:

Без грез

Даже в лихой

Мороз

Сладко на сене

Спать».

Пятый сказал

В ответ:

«Мне уже сорок

Лет.

Но не угас мой

Бес,

Так все и тянет

В лес,

В синий вечерний

Свет.

Много сказать

Не могу:

Час лишь лежал я

В снегу,

Слушал метельный

Вой,

Но помешал

Конвой

С ружьями на бегу».

Серая, хмурая

Высь,

Тучи с землею

Слились.

Ты помнишь, конечно,

Тот

Метельный семнадцатый

Год,

Когда они

Разошлись?

Каждый пошел в свой

Дом

С ивами над прудом.

Видел луну

И клен,

Только не встретил

Он

Сердцу любимых

В нем.

Их было тридцать

Шесть.

В каждом кипела

Месть.

И каждый в октябрьский

Звон

Пошел на влюбленных

В трон,

Чтоб навсегда их

Сместь.

Быстро бегут

Дни.

Встретились вновь

Они.

У каждого новый

Дом.

В лёжку живут лишь

В нем,

Очей загасив

Огни.

Тихий вечерний

Час.

Колокол бьет

Семь раз.

Месяц широк

И ал.

Тот, кто теперь

Задремал,

Уж не поднимет

Глаз.

Теплая синяя

Весь,

Всякие песни

Есть…

Над каждым своя

Звезда…

Мы же поем

Всегда:

Их было тридцать

Шесть.

<1924>

АННА СНЕГИНА[135]

А. Воронскому

1

«Село, значит, наше — Радово,

Дворов, почитай, два ста.

Тому, кто его оглядывал,

Приятственны наши места.

Богаты мы лесом и водью,

Есть пастбища, есть поля.

И по всему угодью

Рассажены тополя.

Мы в важные очень не лезем,

Но все же нам счастье дано.

Дворы у нас крыты железом,

У каждого сад и гумно.

У каждого крашены ставни,

По праздникам мясо и квас.

Недаром когда-то исправник

Любил погостить у нас.

Оброки платили мы к сроку,

Но — грозный судья — старшина

Всегда прибавлял к оброку

По мере муки и пшена.

И чтоб избежать напасти,

Излишек нам был без тяго?т.

Раз — власти, на то они власти,

А мы лишь простой народ.

Но люди — все грешные души.

У многих глаза — что клыки.

С соседней деревни Криуши

Косились на нас мужики.

Житье у них было плохое —

Почти вся деревня вскачь

Пахала одной сохою

На паре заезженных кляч.

Каких уж тут ждать обилий, —

Была бы душа жива.

Украдкой они рубили

Из нашего леса дрова.

Однажды мы их застали…

Они в топоры, мы тож.

От звона и скрежета стали

По телу катилась дрожь.

В скандале убийством пахнет.

И в нашу и в их вину

Вдруг кто-то из них как ахнет! —

И сразу убил старшину.

На нашей быдластой сходке

Мы делу условили ширь.

Судили. Забили в колодки

И десять услали в Сибирь.

С тех пор и у нас неуряды.

Скатилась со счастья вожжа.

Почти что три года кряду

У нас то падеж, то пожар».

Такие печальные вести

Возница мне пел весь путь.

Я в радовские предместья

Ехал тогда отдохнуть.

Война мне всю душу изъела.

За чей-то чужой интерес

Стрелял я в мне близкое тело

И грудью на брата лез.

Я понял, что я — игрушка,

В тылу же купцы да знать,

И, твердо простившись с пушками,

Решил лишь в стихах воевать.

Я бросил мою винтовку,

Купил себе «липу»[136], и вот

С такою-то подготовкой

Я встретил 17-ый год.

Свобода взметнулась неистово.

И в розово-смрадном огне

Тогда над страною калифствовал

Керенский на белом коне.

Война «до конца», «до победы».

И ту же сермяжную рать

Прохвосты и дармоеды

Сгоняли на фронт умирать.

Но все же не взял я шпагу…

Под грохот и рев мортир

Другую явил я отвагу —

Был первый в стране дезертир.

Дорога довольно хорошая,

Приятная хладная звень.

Луна золотою порошею

Осыпала даль деревень.

«Ну, вот оно, наше Радово,—

Промолвил возница, —

Здесь!

Недаром я лошади вкладывал

За норов ее и спесь.

Позволь, гражданин, на чаишко.

Вам к мельнику надо?

Так вон!..

Я требую с вас без излишка

За дальний такой прогон».

……

Даю сороковку.

«Мало!»

Даю еще двадцать.

«Нет!»

Такой отвратительный малый.

А малому тридцать лет.

«Да что ж ты?

Имеешь ли душу?

За что ты с меня гребешь?»

И мне отвечает туша:

«Сегодня плохая рожь.

Давайте еще незвонких

Десяток иль штучек шесть —

Я выпью в шинке самогонки

За ваше здоровье и честь…»

И вот я на мельнице…

Ельник

Осыпан свечьми светляков.

От радости старый мельник

Не может сказать двух слов:

«Голубчик! Да ты ли?

Сергуха!

Озяб, чай? Поди, продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог!»

В апреле прозябнуть трудно,

Особенно так в конце.

Был вечер задумчиво чудный,

Как дружья улыбка в лице.

Объятья мельника круты,

От них заревет и медведь,

Но все же в плохие минуты

Приятно друзей иметь.

«Откуда? Надолго ли?»

«На год».

«Ну, значит, дружище, гуляй!

Сим летом грибов и ягод

У нас хоть в Москву отбавляй.

И дичи здесь, братец, до черта,

Сама так под порох и прет.

Подумай ведь только…

Четвертый

Тебя не видали мы год…»

……

.. ……

Беседа окончена…

Чинно

Мы выпили весь самовар.

По-старому с шубой овчинной

Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,

Лицо задевает сирень.

Так мил моим вспыхнувшим взглядам

Состарившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки

Мне было шестнадцать лет,

И девушка в белой накидке

Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие, милые были.

Тот образ во мне не угас…

Мы все в эти годы любили,

Но мало любили нас.

2

«Ну что же! Вставай, Сергуша!

Еще и заря не текла,

Старуха за милую душу

Оладьев тебе напекла.

Я сам-то сейчас уеду

К помещице Снегиной…

Ей

Вчера настрелял я к обеду

Прекраснейших дупелей».

Привет тебе, жизни денница!

Встаю, одеваюсь, иду.

Дымком отдает росяница

На яблонях белых в саду.

Я думаю:

Как прекрасна

Земля

И на ней человек.

И сколько с войной несчастных

Уродов теперь и калек!

И сколько зарыто в ямах!

И сколько зароют еще!

И чувствую в скулах упрямых

Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!

Не пойду навеки!

За то, что какая-то мразь

Бросает солдату-калеке

Пятак или гривенник в грязь.

«Ну, доброе утро, старуха!

Ты что-то немного сдала?»

И слышу сквозь кашель глухо:

«Дела одолели, дела.

У нас здесь теперь неспокойно.

Испариной все зацвело.

Сплошные мужицкие войны —

Дерутся селом на село.

Сама я своими ушами

Слыхала от прихожан:

То радовцев бьют криушане,

То радовцы бьют криушан.

А все это, значит, безвластье.

Прогнали царя…

Так вот…

Посыпались все напасти

На наш неразумный народ.

Открыли зачем-то остроги,

Злодеев пустили лихих.

Теперь на большой дороге

Покою не знай от них.

Вот тоже, допустим… С Криуши…

Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,

Они ж, воровские души,

Вернулись опять домой.

У них там есть Прон Оглоблин,

Булдыжник, драчун, грубиян.

Он вечно на всех озлоблен,

С утра по неделям пьян.

И нагло в третьевом годе,

Когда объявили войну,

При всем честном народе

Убил топором старшину.

Таких теперь тысячи стало

Творить на свободе гнусь.

Пропала Расея, пропала…

Погибла кормилица Русь…»

Я вспомнил рассказ возницы

И, взяв свою шляпу и трость,

Пошел мужикам поклониться,

Как старый знакомый и гость.

Иду голубою дорожкой

И вижу — навстречу мне

Несется мой мельник на дрожках

По рыхлой еще целине.

«Сергуха! За милую душу!

Постой, я тебе расскажу!

Сейчас! Дай поправить вожжу,

Потом и тебя оглоушу.

Чего ж ты мне утром ни слова?

Я Снегиным так и бряк:

Приехал ко мне, мол, веселый

Один молодой чудак.

(Они ко мне очень желанны,

Я знаю их десять лет.)

А дочь их замужняя Анна

Спросила:

— Не тот ли, поэт?

— Ну, да, — говорю, — он самый.

— Блондин?

— Ну, конечно, блондин!

— С кудрявыми волосами?

— Забавный такой господин!

— Когда он приехал?

— Недавно.

— Ах, мамочка, это он!

Ты знаешь,

Он был забавно

Когда-то в меня влюблен.

Был скромный такой мальчишка,

А нынче…

Поди ж ты…

Вот…

Писатель…

Известная шишка…

Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы,

Лукаво прищурил глаз:

«Ну, ладно! Прощай до обеда.

Другое сдержу про запас».

Я шел по дороге в Криушу

И тростью сшибал зеленя.

Ничто не пробилось мне в душу,

Ничто не смутило меня.

Струилися запахи сладко,

И в мыслях был пьяный туман…

Теперь бы с красивой солдаткой

Завесть хорошо роман.

Но вот и Криуша…

Три года

Не зрел я знакомых крыш.

Сиреневая погода

Сиренью обрызгала тишь.

Не слышно собачьего лая,

Здесь нечего, видно, стеречь —

У каждого хата гнилая,

А в хате ухваты да печь.

Гляжу, на крыльце у Прона

Горластый мужицкий галдеж.

Толкуют о новых законах,

О ценах на скот и рожь.

«Здорово, друзья!»

«Э, охотник!

Здорово, здорово!

Садись!

Послушай-ка ты, беззаботник,

Про нашу крестьянскую жисть.

Что нового в Питере слышно?

С министрами, чай, ведь знаком?

Недаром, едрит твою в дышло,

Воспитан ты был кулаком.

Но все ж мы тебя не порочим.

Ты — свойский, мужицкий, наш,

Бахвалишься славой не очень

И сердце свое не продашь.

Бывал ты к нам зорким и рьяным,

Себя вынимал на испод…

Скажи:

Отойдут ли крестьянам

Без выкупа пашни господ?

Кричат нам,

Что землю не троньте,

Еще не настал, мол, миг.

За что же тогда на фронте

Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой

Смотрел мне в лицо и в глаза,

А я, отягченный думой,

Не мог ничего сказать.

Дрожали, качались ступени,

Но помню

Под звон головы:

«Скажи,

Кто такое Ленин?»

Я тихо ответил:

«Он — вы».

3

На корточках ползали слухи,

Судили, решали, шепча.

И я от моей старухи

Достаточно их получал.

Однажды, вернувшись с тяги,

Я лег подремать на диван.

Разносчик болотной влаги,

Меня прознобил туман.

Трясло меня, как в лихорадке,

Бросало то в холод, то в жар,

И в этом проклятом припадке

Четыре я дня пролежал.

Мой мельник с ума, знать, спятил.

Поехал,

Кого-то привез…

Я видел лишь белое платье

Да чей-то привздернутый нос.

Потом, когда стало легче,

Когда прекратилась трясь,

На пятые сутки под вечер

Простуда моя улеглась.

Я встал.

И лишь только пола

Коснулся дрожащей ногой,

Услышал я голос веселый:

«А!

Здравствуйте, мой дорогой!

Давненько я вас не видала.

Теперь из ребяческих лет

Я важная дама стала,

А вы — знаменитый поэт.

……

Ну, сядем.

Прошла лихорадка?

Какой вы теперь не такой!

Я даже вздохнула украдкой,

Коснувшись до вас рукой.

Да…

Не вернуть, что было.

Все годы бегут в водоем.

Когда-то я очень любила

Сидеть у калитки вдвоем.

Мы вместе мечтали о славе…

И вы угодили в прицел,

Меня же про это заставил

Забыть молодой офицер…»

Я слушал ее и невольно

Оглядывал стройный лик.

Хотелось сказать:

«Довольно!

Найдемте другой язык!»

Но почему-то, не знаю,

Смущенно сказал невпопад:

«Да… Да…

Я сейчас вспоминаю…

Садитесь.

Я очень рад.

Я вам прочитаю немного

Стихи

Про кабацкую Русь…

Отделано четко и строго.

По чувству — цыганская грусть».

«Сергей!

Вы такой нехороший.

Мне жалко,

Обидно мне,

Что пьяные ваши дебоши

Известны по всей стране.

Скажите:

Что с вами случилось?»

«Не знаю».

«Кому же знать?»

«Наверно, в осеннюю сырость

Меня родила моя мать».

«Шутник вы…»

«Вы тоже, Анна».

«Кого-нибудь любите?»

«Нет».

«Тогда еще более странно

Губить себя с этих лет:

Пред вами такая дорога…»

Сгущалась, туманилась даль…

Не знаю, зачем я трогал

Перчатки ее и шаль.

……

Луна хохотала, как клоун.

И в сердце хоть прежнего нет,

По-странному был я полон

Наплывом шестнадцати лет.

Расстались мы с ней на рассвете

С загадкой движений и глаз…

Есть что-то прекрасное в лете,

А с летом прекрасное в нас.

Мой мельник…

Ох, этот мельник!

С ума меня сводит он.

Устроил волынку, бездельник,

И бегает, как почтальон.

Сегодня опять с запиской,

Как будто бы кто-то влюблен:

«Придите.

Вы самый близкий.

С любовью

Оглоблин Прон».

Иду.

Прихожу в Криушу.

Оглоблин стоит у ворот

И спьяну в печенки и в душу

Костит обнищалый народ.

«Эй, вы!

Тараканье отродье!

Все к Онегиной!..

Р-раз и квас!

Даешь, мол, твои угодья

Без всякого выкупа с нас!»

И тут же, меня завидя,

Снижая сварливую прыть,

Сказал в неподдельной обиде:

«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?»

«Конечно, не жать, не косить.

Сейчас я достану лошадь

И к Онегиной… вместе… Просить…»

И вот запрягли нам клячу.

В оглоблях мосластая шкеть —

Таких отдают с придачей,

Чтоб только самим не иметь.

Мы ехали мелким шагом,

И путь нас смешил и злил:

В подъемах по всем оврагам

Телегу мы сами везли.

Приехали.

Дом с мезонином

Немного присел на фасад.

Волнующе пахнет жасмином

Плетневый его палисад.

Слезаем.

Подходим к террасе

И, пыль отряхая с плеч,

О чьем-то последнем часе

Из горницы слышим речь:

«Рыдай — не рыдай, — не помога…

Теперь он холодный труп…

Там кто-то стучит у порога.

Припудрись…

Пойду отопру…»

Дебелая грустная дама

Откинула добрый засов.

И Прон мой ей брякнул прямо

Про землю,

Без всяких слов.

«Отдай!..—

Повторял он глухо.—

Не ноги ж тебе целовать!»

Как будто без мысли и слуха

Она принимала слова.

Потом в разговорную очередь

Спросила меня

Сквозь жуть:

«А вы, вероятно, к дочери?

Присядьте…

Сейчас доложу…»

Теперь я отчетливо помню

Тех дней роковое кольцо.

Но было совсем не легко мне

Увидеть ее лицо.

Я понял —

Случилось горе,

И молча хотел помочь.

«Убили… Убили Борю…

Оставьте!

Уйдите прочь!

Вы — жалкий и низкий трусишка.

Он умер…

А вы вот здесь…»

Нет, это уж было слишком.

Не всякий рожден перенесть.

Как язвы, стыдясь оплеухи,

Я Прону ответил так:

«Сегодня они не в духе…

Поедем-ка, Прон, в кабак…»

4

Все лето провел я в охоте.

Забыл ее имя и лик.

Обиду мою

На болоте

Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая

В древесную цветень и сочь,

И лето такое короткое,

Как майская теплая ночь.

Заря холодней и багровей.

Туман припадает ниц.

Уже в облетевшей дуброве

Разносится звон синиц.

Мой мельник вовсю улыбается,

Какая-то веселость в нем.

«Теперь мы, Сергуха, по зайцам

За милую душу пальнем!»

Я рад и охоте…

Коль нечем

Развеять тоску и сон.

Сегодня ко мне под вечер,

Как месяц, вкатился Прон.

«Дружище!

С великим счастьем!

Настал ожидаемый час!

Приветствую с новой властью!

Теперь мы всех р-раз и квас!

Без всякого выкупа с лета

Мы пашни берем и леса.

В России теперь Советы

И Ленин — старшой комиссар.

Дружище!

Вот это номер!

Вот это почин так почин.

Я с радости чуть не помер,

А брат мой в штаны намочил.

Едри ж твою в бабушку плюнуть!

Гляди, голубарь, веселей!

Я первый сейчас же коммуну

Устрою в своем селе».

У Прона был брат Лабутя,

Мужик — что твой пятый туз:

При всякой опасной минуте

Хвальбишка и дьявольский трус.

Таких вы, конечно, видали.

Их рок болтовней наградил.

Носил он две белых медали

С японской войны на груди.

И голосом хриплым и пьяным

Тянул, заходя в кабак:

«Прославленному под Ляояном

Ссудите на четвертак…»

Потом, насосавшись до дури,

Взволнованно и горячо

О сдавшемся Порт-Артуре

Соседу слезил на плечо.

«Голубчик! —

Кричал он.—

Петя!

Мне больно… Не думай, что пьян.

Отвагу мою на свете

Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете.

Живут, не мозоля рук.

И вот он, конечно, в Совете,

Медали запрятал в сундук.

Но с тою же важной осанкой,

Как некий седой ветеран,

Хрипел под сивушной банкой

Про Нерчинск и Турухан:

«Да, братец!

Мы горе видали,

Но нас не запугивал страх…»

……

Медали, медали, медали

Звенели в его словах.

Он Прону вытягивал нервы,

И Прон материл не судом.

Но все ж тот поехал первый

Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:

Даешь! Разберем потом!

Весь хутор забрали в волость

С хозяйками и со скотом.

А мельник…

……

Мой старый мельник

Хозяек привез к себе,

Заставил меня, бездельник,

В чужой ковыряться судьбе.

И спова нахлынуло что-то…

Тогда я всю ночь напролет

Смотрел на скривленный заботой

Красивый и чувственный рот.

Я помню —

Она говорила:

«Простите… Была не права…

Я мужа безумно любила.

Как вспомню… болит голова…

Но вас

Оскорбила случайно…

Жестокость была мой суд…

Была в том печальная тайна,

Что страстью преступной зовут.

Конечно,

До этой осени

Я знала б счастливую быль…

Потом бы меня вы бросили,

Как выпитую бутыль…

Поэтому было не надо…

Ни встреч… ни вобще продолжать…

Тем более с старыми взглядами

Могла я обидеть мать».

Но я перевел на другое,

Уставясь в ее глаза,

И тело ее тугое

Немного качнулось назад.

«Скажите,

Вам больно, Анна,

За ваш хуторской разор?»

Но как-то печально и странно

Она опустила свой взор.

……

«Смотрите…

Уже светает.

Заря как пожар на снегу…

Мне что-то напоминает…

Но что?..

Я понять не могу…

Ах!.. Да…

Это было в детстве…

Другой… Не осенний рассвет…

Мы с вами сидели вместе…

Нам по шестнадцать лет…»

Потом, оглядев меня нежно

И лебедя выгнув рукой,

Сказала как будто небрежно:

«Ну, ладно…

Пора на покой…»

……

Под вечер они уехали.

Куда?

Я не знаю куда.

В равнине, проложенной вехами,

Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий,

Не знаю, что сделал Прон.

Я быстро умчался в Питер

Развеять тоску и сон.

5

Суровые, грозные годы!

Но разве всего описать?

Слыхали дворцовые своды

Солдатскую крепкую «мать».

Эх, удаль!

Цветение в далях!

Недаром чумазый сброд

Играл по дворам на роялях

Коровам тамбовский фокстрот.

За хлеб, за овес, за картошку

Мужик залучил граммофон,—

Слюнявя козлиную ножку,

Танго себе слушает он.

Сжимая от прибыли руки,

Ругаясь на всякий налог,

Он мыслит до дури о штуке,

Катающейся между ног.

Шли годы

Размашисто, пылко…

Удел хлебороба гас.

Немало попрело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.
Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец землей и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.
Ну, ладно.
Довольно стонов!
Не нужно насмешек и слов!
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо:
«Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криушу
Не кажешься целых шесть лет!
Утешь!
Соберись, на милость!
Прижваривай по весне!
У нас здесь такое случилось,
Чего не расскажешь в письме.
Теперь стал спокой в народе.
И буря пришла в угомон.
Узнай, что в двадцатом годе
Расстрелян Оглоблин Прон.
Расея…
Дуровая зыкь она.
Хошь верь, хошь не верь ушам —
Однажды отряд Деникина
Нагрянул на криушан.
Вот тут и пошла потеха…
С потехи такой — околеть.
Со скрежетом и со смехом
Гульнула казацкая плеть.
Тогда вот и чикнули Проню,
Лабутя ж в солому залез
И вылез,
Лишь только кони
Казацкие скрылись в лес.

Теперь он по пьяной морде

Еще не устал голосить:

«Мне нужно бы красный орден

За храбрость мою носить».

Совсем прокатились тучи…

И хоть мы живем не в раю,

Ты все ж приезжай, голубчик,

Утешить судьбину мою…»

И вот я опять в дороге.

Ночная июньская хмарь.

Бегут говорливые дроги

Ни шатко ни валко, как встарь.

Дорога довольно хорошая,

Равнинная тихая звень.

Луна золотою порошею

Осыпала даль деревень.

Мелькают часовни, колодцы,

Околицы и плетни.

И сердце по-старому бьется,

Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице…

Ельник

Усыпан свечьми светляков.

По-старому старый мельник

Не может связать двух слов:

«Голубчик! Вот радость! Сергуха!

Озяб, чай? Поди, продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог.

Сергунь! Золотой! Послушай!

……

И ты уж старик по годам…

Сейчас я за милую душу

Подарок тебе передам».

«Подарок?»

«Нет…

Просто письмишко.

Да ты не спеши, голубок!

Почти что два месяца с лишком

Я с почты его приволок».

Вскрываю… читаю… Конечно!

Откуда же больше и ждать!

И почерк такой беспечный,

И лондонская печать.

«Вы живы?.. Я очень рада…

Я тоже, как вы, жива.

Так часто мне снится ограда,

Калитка и ваши слова.

Теперь я от вас далеко…

В России теперь апрель.

И синею заволокой

Покрыта береза и ель.

Сейчас вот, когда бумаге

Вверяю я грусть моих слов,

Вы с мельником, может, на тяге

Подслушиваете тетеревов.

Я часто хожу на пристань

И, то ли на радость, то ль в страх,

Гляжу средь судов все пристальней

На красный советский флаг.

Теперь там достигли силы.

Дорога моя ясна…

Но вы мне по-прежнему милы,

Как родина и как весна».

……

Письмо как письмо.

Беспричинно.

Я в жисть бы таких не писал.

По-прежнему с шубой овчинной

Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,

Лицо задевает сирень.

Так мил моим вспыхнувшим взглядам

Погорбившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки

Мне было шестнадцать лет.

И девушка в белой накидке

Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!..

Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили,

Но, значит,

Любили и нас.

Январь 1925

Батум

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК[137]

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,

Как крыльями птица.

Ей на шее ноги

Маячить больше невмочь.

Черный человек,

Черный, черный,

Черный человек

На кровать ко мне садится,

Черный человек

Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек

Водит пальцем по мерзкой книге

И, гнусавя надо мной,

Как над усопшим монах,

Читает мне жизнь

Какого-то прохвоста и забулдыги,

Нагоняя на душу тоску и страх.

Черный человек,

Черный, черный!

«Слушай, слушай, —

Бормочет он мне, —

В книге много прекраснейших

Мыслей и планов.

Этот человек

Проживал в стране

Самых отвратительных

Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране

Снег до дьявола чист,

И метели заводят

Веселые прялки.

Был человек тот авантюрист,

Но самой высокой

И лучшей марки.

Был он изящен,

К тому ж поэт,

Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,

Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой

И своею милою.

Счастье, — говорил он, —

Есть ловкость ума и рук.

Все неловкие души

За несчастных всегда известны.

Это ничего,

Что много мук

Приносят изломанные

И лживые жесты.

В грозы, в бури,

В житейскую стынь,

При тяжелых утратах

И когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым —

Самое высшее в мире искусство».

«Черный человек!

Ты не смеешь этого!

Ты ведь не на службе

Живешь водолазовой.

Что мне до жизни

Скандального поэта.

Пожалуйста, другим

Читай и рассказывай».

Черный человек

Глядит на меня в упор.

И глаза покрываются

Голубой блевотой,—

Словно хочет сказать мне,

Что я жулик и вор,

Так бесстыдно и нагло

Обокравший кого-то.

……

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.

Тих покой перекрестка.

Я один у окошка,

Ни гостя, ни друга не жду.

Вся равнина покрыта

Сыпучей и мягкой известкой,

И деревья, как всадники,

Съехались в нашем саду.

Где-то плачет

Ночная зловещая птица.

Деревянные всадники

Сеют копытливый стук.

Вот опять этот черный

На кресло мое садится,

Приподняв свой цилиндр

И откинув небрежно сюртук.

«Слушай, слушай! —

Хрипит он, смотря мне в лицо,

Сам все ближе

И ближе клонится.—

Я не видел, чтоб кто-нибудь

Из подлецов

Так ненужно и глупо

Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!

Ведь нынче луна.

Что же нужно еще

Напоенному дремой мирику?

Может, с толстыми ляжками

Тайно придет «она»,

И ты будешь читать

Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!

Забавный народ.

В них всегда нахожу я

Историю, сердцу знакомую, —

Как прыщавой курсистке

Длинноволосый урод

Говорит о мирах,

Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,

В одном селе,

Может, в Калуге,

А может, в Рязани,

Жил мальчик

В простой крестьянской семье,

Желтоволосый,

С голубыми глазами…

И вот стал он взрослым,

К тому ж поэт,

Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,

Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой

И своею милою».

«Черный человек!

Ты прескверный гость.

Эта слава давно

Про тебя разносится».

Я взбешен, разъярен,

И летит моя трость

Прямо к морде его,

В переносицу…

……

…Месяц умер,

Синеет в окошко рассвет.

Ах ты, ночь!

Что ты, ночь, наковеркала?

Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.

Я один…

И разбитое зеркало…

14 ноября 1925

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Есенина на русском языке было издано двадцать три сборника его стихотворений. Помимо этого, отдельными изданиями выходили «Исус-младенец», «Пугачев», «Песнь о великом походе».

В 1923 году в Берлине издательством З. И. Гржебина был выпущен первый том «Собрания стихов и поэм» Есенина. Второй том из печати не вышел. В 1925 году Есенин подготовил для Госиздата трехтомное «Собрание стихотворений». Вышло оно уже после смерти поэта, в 1926–1927 годы в четырех томах (в последний том вошли произведения, которые Есенин не включил в Собрание, и справочные материалы). Тексты этого Собрания представляют собой последнюю авторскую редакцию. Они служили основой практически для всех последующих изданий.

В настоящем томе представлены избранные произведения Есенина. При общем хронологическом построении, внутри годов стихотворения расположены редакцией с учетом той последовательности, которая была установлена поэтом в «Собрании стихотворений».

Тексты печатаются по изданию: Сергей Есенин. Собрание сочинений в 5-ти томах, тт. 1–3. М., Гослитиздат, 1960–1961, — с учетом уточнений и поправок в повторном издании этого Собрания (Гослитиздат, 1966–1967) и трехтомного собрания сочинений С. Есенина (изд-во «Правда», М., 1970).

При подготовке «Собрания» в 1925 году под большинством произведений по указанию С. Есенина были поставлены даты их создания. Они воспроизводятся в настоящем издании безоговорочно. В тех случаях, когда даты отсутствуют или имеются документальные доказательства их ошибочности, — в угловых скобках даются даты, установленные редакционно.

При уточнении датировок и комментировании произведений учтены труды исследователей творчества поэта — В. Белоусова, В. Вдовина, А. Ломана, Е. Наумова, Ю. Прокушева, Н. Хомчук, П. Юшина и др.

В примечаниях приняты следующие условные сокращения:

«Воспоминания» — сб. «Воспоминания о Сергее Есенине», под общей редакцией Ю. Л. Прокушева. М., «Московский рабочий», 1965.

Собр. соч. — Сергей Есенин. Собрание сочинений в 5-ти томах, тт. 1–5. М., «Художественная литература», 1966–1968.

Примечания

1

В. В. Коржан. Забытые частушки Есенина. — «Есенин и русская поэзия». Л., «Наука», 1967, с. 348.

2

Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. 12. М., ГИХЛ, 1959, с. 93–94.

3

Там же, с. 94.

4

Ю. Либединский. Современники. Воспоминания. М., «Советский писатель», 1958, с. ИЗ.

5

Сб. «Воспоминания о Сергее Есенине», под общей редакцией Ю. Л. Прокушева. М., «Московский рабочий», 1965, с. 173

6

Д. Фурманов. Из дневника писателя. М., «Молодая гвардия», 1934, с. 70–71.

7

«Воспоминания о Сергее Есенине», с. 140.

8

Там же, с. 247.

9

См.: Иван Грузинов. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. — Альманах «Сегодня», вып. 1. М., 1926, с. 82.

10

Ю. Тынянов. Фрхаисты и новаторы. Л., «Прибой», 1929, с. 545.

11

К. Бальмонт. Только любовь. М., 1913, с. 101.

12

«Воспоминания о Сергее Есенине», с. 307.

13

И. Г. Прыжов. Очерки. Статьи. Письма. «Academia», 1934, с. 205.

14

Купыри — луговая трава.

15

Купальница — канун праздника Ивана Купалы, приходившийся на 23 июня. «Св. Агриппина известна в народе русском под именем Аграфены Купальницы. Причиною такого названия послужило то обстоятельство, что предки наши еще в эпоху дохристианскую с 23 июня… начинали одно из важнейших своих празднеств Купалы. Самый праздник Купальницы в старину русский народ начинал с того, что все ходили в баню и здесь особенно любили париться различными кореньями и растениями с той целью, чтобы укрепить и восстановить свои силы и здоровье… Потом с полудня Аграфены Купальницы начинались новые общие народные увеселения, которые совершались с особыми хороводами и продолжались до глубокой ночи…» (И. Калинский. Церковно-народный месяцеслов на Руси. СПб., 1877, с. 145–146).

16

…травы ворожбиные… — По народным поверьям, многие растения в Купальницу и в день Ивана Купалы получают колдовскую или целебную силу.

17

Свясло — жгут, свитый из ржаной соломы для вязки снопов.

18

Кузнец — Стихотворение было напечатано в большевистской «Правде» 15 мая 1914 года (в то время газета выходила под названием «Путь правды»).

19

Семик — седьмой четверг после пасхи, то есть последний четверг перед церковным праздником троицы. Вот как описывается этот праздник и гадания, бытовавшие в Рязанской губернии: «В семик есть обычай наряжать березку. Срубленную молодую березку около шести часов пополудни приносят на выгон или на улицу; к ней собираются бабы, девки в лучших нарядах, хотя бы это было после трудной

дневной работы, и молодые парни. Бабы и девки изукрашивают березку бумажными и шелковыми платками и лентами, если они водятся, навязывая все это по веткам; потом с песнями и с наряженной березкой идут в ближайшую рощу, где есть много березняку. Тут, на луговинке, водружают березку, и потом, рассыпавшись по березняку, ломают ветви, плетут венки и надевают их на головы… Все, участвовавшие в завивании венков, идут к реке или к пруду, снимают с себя венки, кладут их на воду близ берега и, сквозь венок почерпнув воды, умываются. Потом, взяв опять венок, бросают его далеко на воду: ежели венок потонет — то бросивший его умрет в том же году, а не потонет — то будет жив. Этот самый обычай совершенно в том же виде повторяется и в троицын день; разница существует только в названии: в семик завивают венки, а в троицын день развивают» (В. Селиванов. Год русского земледельца. М., 1914, с. 24–25).

20

Кулижка (кулига) — обособленный лужок, полянка или прогалина в лесу, ровная площадка среди домов в деревне, особняком расположенная луговинка и т. п.

21

Драчена — кушанье, выпекаемое из яиц, молока, масла, сметаны и т. п.

22

Дежка — квашня, кадочка, в которой заквашивают тесто.

23

Печурка — углубление, ямка в зеркале русской печки.

24

Кукольни — сорная трава в хлебах.

25

Дулейка — верхняя женская одежда, род кофты на вате.

26

Косницы — ленты в косах или пук лент, привешиваемый на кончик косы.

27

Еланка (елань) — прогалина, полянка.

28

Выть — земельный надел; на Рязанщине — на несколько десятков душ или дворов, которые и составляли выть.

29

Веретье — большое полотнище, сшитое из ряднины или другого грубого материала. Служило как подстилка под зерно при его просушке или как покрышка.

30

Кукан — здесь: отмель, маленький островок на реке во время спада воды.

31

Марфа Посадница — В стихотворении использованы предания о реальном историческом лице — Марфе Борецкой, одной из вдохновительниц выступлений новгородского боярства против Ивана III. Великий князь московский Иван III (1440–1505), борясь за создание централизованного русского государства, стремился включить в его состав и Новгород с его владениями. Новгородское боярство, активно сопротивляясь этому, защищало не столько независимость Новгорода, сколько свои привилегии. Дело дошло до открытых военных столкновений; в 1471 году новгородские войска были разбиты Иваном III, и в 1478 году Новгород окончательно вошел в состав единого русского государства.

Стихотворение вызвало интерес у М. Горького, предполагавшего напечатать его в своем только что организованном журнале «Летопись». 24 февраля 1916 года он писал И. А. Бунину: «…вчера цензор зарезал длинное и недурное стихотворение Есенина «Марфа Посадница», назначенное в февраль…» (сб. «Горьковские чтения». М., 1961, с. 85). «Марфа Посадница» была опубликована только в апреле 1917 года.

32

Микола — Как и ряд других произведений этого периода, стихотворение основано на народных легендах и сказаниях, которые Есенин в детстве слышал в родном селе Константинове. «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, — вспоминал поэт в автобиографии, — пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого.

33

Русь — На обороте автографа Есенин записал объяснения к ряду слов: «В погорающем инее — облетающем, исчезающем инее. Застреха — полукрыша, намет соломы у карниза. Шаль пурги — снежный смерч (вьюга) (зга) (мзга). Бласт — видение».

О своих стихах, посвященных первой мировой войне, Есенин говорил И. Н. Розанову: «Я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «гром победы раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан» («Воспоминания», с. 299).

34

Коливо — поминальная кутья, постная каша с изюмом.

35

Свей — дорожная пыль или песок, сбитые ветром.

36

Гамаюн — по русским поверьям, сказочная птица-вещунья с человеческим лицом.

37

Кошница — плетенка, корзинка, кошель.

38

…к правде сошьего креста… — Рукоять сохи напоминает крест.

39

…светом книги голубиной… — Имеется в виду русский духовный стих о Голубиной (от «глубина» — мудрость) книге. В ней излагаются сведения о происхождении мира, земных явлений, живых существ, человека. В статье «Ключи Марии» Есенин, опираясь, в частности, на Голубиную книгу, доказывает, что в предметах и обозначениях народного быта воплотились изначальные представления об устройстве мира. Приведя несколько стихов из Голубиной книги, он пишет, что в них «мы находим целый ряд указаний на то, что человек есть ни больше ни меньше, чем чаша космических обособленностей» (Собр. соч., т. 4, с. 183–184).

40

Песнь о собаке — О чтении Есениным этого стихотворения М. Горький вспоминал:

«Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят… Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье, — молвил Есенин задумчиво и тихо… пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки: Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег, —

на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком» («Воспоминания», с. 337–338).

41

Иванов Разумник Васильевич (1878–1946) — литературный критик и публицист (печатался под псевдонимом Р. В. Иванов-Разумник). Есенин встречался и переписывался с ним с 1915 года. Наиболее тесные отношения между ними были в 1917–1918 годах, когда Есенин принимал участие в ряде изданий, редактировавшихся Ивановым-Разумником, — в частности, в альманахе «Скифы».

42

…жадно слушаешь ты ектенью… — Ектенья — род моления, церковное песнопение.

43

Поветь — крытый крестьянский двор, кровля над ним, помещение под навесом.

44

Лития — род богослужения, совершаемого обычно вне церкви.

45

Вой — воин.

46

Вольга — герой ряда русских былин.

47

Назарет — город в Галилее, по которому Христос получил свое прозвище — Назарянин; Новый Назарет — провозвестник новой веры, нового вероучения.

48

Симеон — христианский святой.

49

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — писатель; с Есениным познакомился в 1915 году. Записал со слов Есенина и опубликовал несколько притч о Николае-чудотворце. В 1921 году эмигрировал.

50

Желна — черный дятел.

51

Понтий Пилат — римский прокуратор (наместник) провинции Иудеи в 26–36 годах. Согласно библейской легенде, в годы его правления был распят Иисус Христос.

52

Или, или, лама савахфани… — Согласно Евангелию, эти слова произнес Христос, когда его распинали на кресте. В переводе с древнееврейского: «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил».

53

«О Русь, взмахни крылами…» — В письме к своему другу поэту А. В. Ширяевцу от 24 июня 1917 года Есенин подробно писал об особом пути народных крестьянских писателей и их отношении к «питерским литераторам»: «Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы… Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина… Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить» (Собр. соч., т. 5, с. 73–74). Определенный отсвет подобных настроений виден и в стихотворении «О Русь, взмахни крылами…». Объясняя спустя полгода после этого письма полемический характер упоминания в стихотворении «среднего брата» — поэта Николая Алексеевича Клюева (1887–1937), Есенин писал: «Клюев, за исключением «Избяных песен», которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом… Значение среднего в «Коньке-горбунке», да и во всех почти русских сказках — «Так и сяк». Поэтому я и сказал: «Он весь в резьбе молвы», — то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель» (Собр. соч., т. 5, с. 77). Неприятие консервативных идей Клюева, его идеализации патриархальщины и церковности, побудило Есенина назвать (в беседе с А. А. Блоком в январе 1918 г.) его творчество «черносотенным», а позже неоднократно писать о своей «внутренней распре» с ним. Показательно в этом отношении и стихотворение «Теперь любовь моя не та…», посвященное Н. А. Клюеву.

54

Чапыгин Алексей Павлович (1870–1937) — советский писатель, автор исторических романов «Разин Степан» и «Гулящие люди», в те годы работал над рядом произведений из крестьянской жизни.

55

«Разбуди меня завтра рано…» — «По словам Есенина, это стихотворение явилось первым его откликом на Февральскую революцию», — сообщала С. А. Толстая-Есенина в своих комментариях к стихам Есенина (хранятся в Государственном литературном музее — Москва).

56

Товарищ — Характеризуя настроение Есенина в первые месяцы после Февральской революции, Р. В. Иванов-Разумник писал в апреле 1917 года Андрею Белому: «Кланяются Вам Клюев и Есенин. Оба в восторге, работают, пишут, выступают на митингах» (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). В Петрограде, на Марсовом поле, в марте 1917 года состоялись похороны погибших в дни Февральской революции.

57

Аника — персонаж русского фольклора, — в частности, духовного стиха о битве Аники-воина со смертью.

58

Соловки — известный мужской монастырь на Белом море.

59

Но звон поцелуя // деньгой не гремит… — По евангельской легенде, Иуда, предав Христа за тридцать сребреников, указал на него стражникам, поцеловав его.

60

Там дряхлое время, // Бродя по лугам… — Почти дословное переложение этих же строф дает Есенин в статье «Ключи Марии»: «…рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сыченою брагой» (Собр. соч., т. 4, с. 190–191).

61

Умба — пристань на Белом море. В автобиографии Есенин отмечал, что ему привелось побывать «на Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках» (Собр. соч., т. 5, с. 18). Эта поездка состоялась в 1917 году.

62

Содом — город, уничтоженный богом за грехи его жителей, из которых было дано спастись единственному праведнику Лоту.

63

Егудиил (Иегудиил) — один из архангелов (Библия).

64

Омеж — сошник, лемех.

65

Инония — В черновике автобиографии Есенин писал: «В начале 1918 года я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана и… написал поэму «Инония», на которую много было… нападок и из-за которой за мной утвердилась кличка хулигана» (Собр. соч., т. 5, с. 231).

Вспоминая о встречах с Есениным в Петрограде зимой 1917–1918 годов, один из его близких друзей того времени рассказывал: «В эти месяцы были написаны одна за другой все его богоборческие и космические поэмы о революции. Их немного, но тогда казалось, что они заполняют его время словесной лавиной… Он был весь во власти образов своей, «есенинской Библии»… В таком непрерывно созидающем состоянии я его раньше никогда не видел… Про свою «Инонию», еще никому не прочитанную и, кажется, только

задуманную, он заговорил со мной однажды на улице, как о некоем реально существующем граде, и сам рассмеялся моему недоумению: «Это у меня будет такая поэма… Инония — иная страна…» Его любимыми книгами в это время были Библия, в растрепанном, замученном виде лежавшая на столе, и «Слово о полку Игореве». Он по-новому открыл их для себя, носил их в сердце и постоянно возвращался к ним в разговорах…» (В. С. Чернявский. Встречи с Есениным. — «Новый мир», 1965, № 10).

66

Иеремия — один из библейских пророков. «Книга пророка Иеремии» начинается с рассказа о том, что бог вложил слова свои в его уста.

67

Китеж — по легенде, город, скрывшийся под водой во время татаро-монгольского нашествия.

68

Индикоплов Косьма — византийский купец и путешественник VI века, совершивший поездку в Индию; его «Христианская топография» в средние века была наиболее популярным в России трудом по географии.

69

Радонеж — небольшой городок близ Москвы, по названию которого получил свое имя Сергий Радонежский XIV в.) — основатель Троице-Сергиевой лавры, причисленный православной церковью к лику святых.

70

На реках вавилонских мы плакали… — Перефразированное начало 136-го псалма Давида (Библия), где говорится о плаче иудеев, томившихся в вавилонском плену.

71

Олипий. — Есенин имеет в виду Алимпия (Алипия) — первого известного по имени русского иконописца (конец XI — начало XII в.). Его житие входит в состав «Киево-печерского патерика».

72

Сион — гора, на которой была воздвигнута иерусалимская крепость. В Библии — «святая гора», «град бога живого».

73

Иорданская голубица. — По библейской легенде, над головой Христа в момент его крещения в реке Иордан появился голубь — символ воплощения святого духа.

74

Мать моя — родина, // Я — большевик. — В 1919 году Есенин подписал заявление, в котором говорилось: «Признавая себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, представленному РКП…» (Собр. соч., т. 5, с. 81). Активная поддержка Есениным Октябрьской революции вызвала яростные нападки на него со стороны контрреволюционно настроенных писателей. Характерно следующее свидетельство А. А. Блока: «Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему: «изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно» (А. А. Блок. Записные книжки. М., 1965, с. 385. Запись от 22 января 1918 г.) 75

Апостол Андрей — один из православных святых, брат апостола Петра. Существовала легенда о путешествии апостола Андрея по Руси, которая вошла в «Повесть временных лет».

76

Маврикия — Маврикийский дуб, упоминаемый в Библии. Есенин так толкует этот образ в своей статье «Ключи Марии»: «…то символическое древо, которое означает «семью»… Скандинавская Иггдразиль — поклонение ясеню, то древо, под которым сидел Гуатама, и этот Маврикийский дуб были символами «семьи» как в узком, так и в широком смысле у всех народов… мы есть чада древа, семья того вселенского дуба, под которым Авраам встречает святую троицу» (Собр. соч., т. 4, с. 176).

77

Кантата — Написана ко дню открытия мемориальной доски героям революции на Кремлевской стене. «Кантата» состояла из трех частей. Первая часть принадлежала М. П. Герасимову, вторая — Есенину, третья — С. А. Клычкову. «Кантата» была исполнена в дни Октябрьских торжеств 1918 года. На открытии мемориальной доски присутствовал В. И. Ленин. В отчете говорилось: «Колонны подходят к башне, где мемориальная доска. Одновременно сюда подходят и выстраиваются колоссальные хоры и оркестры Пролеткульта. По диагонали площади под звуки «Интернационала» двигается густая колонна участников открывшегося вчера Шестого съезда Советов… Стройно звучат голоса хора и оркестра Пролеткульта, склоняются знамена, обнажается море голов. Владимир Ильич Ленин, поднятый на руки окружающими, приближается к задрапированной доске, обрезает ножницами шнур, покров спадает, и глазам присутствующих открывается доска. Мемориальная доска работы Коненкова представляет собой барельеф, изображение белокурой фигуры с веткой мира в руках, внизу склоненные знамена и сложенные оружия и надпись «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Цит. по кн. «Музыкальная жизнь Москвы в первые годы после Октября». М., 1972, с. 107–108.

78

Старк Л. Н. (1885–1937) — журналист, один из редакторов газеты «Советская страна» (1919 г.), в которой сотрудничал Есенин.

79

Нынче луну с воды // Лошади выпили. — Образ, навеянный детскими впечатлениями поэта. В одной из автобиографий он писал: «…мы часто ездили… на Оку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов» (Собр. соч., т. 5, с. 16).

80

Пантократор — всемогущий, вседержитель (греч.).

81

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) — один из основателей и теоретиков группы имажинистов. Отношения Есенина с ним были весьма неровные: наиболее близкие в 1919–1921 годах, они завершились резким разрывом в 1924 году. «Не боюсь я этой мариенгофской твари и их подлости нисколечко», — писал Есенин одной из своих знакомых в октябре года (Собр. соч., т. 5, с. 136).

82

Сорокоуст — сорокадневная молитва по умершим.

Вспоминая о публичном выступлении Есенина с чтением этого стихотворения, И. Н. Розанов пишет: «Аудитория Политехнического музея в Москве. Вечер поэтов. Духота и теснота… Пахнет скандалом. Председательствует сдержанный, иногда только криво улыбающийся Валерий Брюсов. Очередь за имажинистами. Выступает Есенин. Начинает свой «Сорокоуст»… Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где встречается слово, не принятое в литературной речи, начинается свист, шиканье, крики «Довольно!» и т. д. Есенин пытается продолжать, но его не слышно. Шум растет. Есенин ретируется… С неимоверным трудом… председателю удается наконец водворить относительный порядок. Брюсов встает и говорит: — Вы услышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последние два или три года» («Воспоминания», с. 293–294).

83

Скачет красногривый жеребенок… — В письме Е. И. Лившиц (август 1920 г.) Есенин рассказывает: «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так

скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни…» (Собр. соч., т. 5, с. 88).

84

«Да! Теперь решено. Без возврата…» — В сборнике «Стихи скандалиста», выпущенном Есениным во время зарубежной поездки, в Берлине, в 1923 году, этим стихотворением открывался цикл «Москва кабацкая». Объясняя в предисловии к этому сборнику некоторые особенности цикла, намеренную резкость ряда образов, нарочитую грубость лексики, Есенин писал: «Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смелого произнесенного мной слова, а на читателе и на слушателе». Позже Есенин несколько раз менял состав цикла «Москва кабацкая». Летом 1924 года он выпустил сборник стихотворений под этим названием, в который, в частности, было включено семь стихотворений цикла «Любовь хулигана» (см. ниже прим. к стихотворению «Заметался пожар голубой…»). Присоединение этих стихотворений и другие перемены в составе цикла заметно изменили его общую тональность, значительно приглушив ноты упадочности, кабацкой «пропади», душевной развинченности, которые отмечались критиками.

Один из близких в те годы Есенину людей, И. И. Старцев, вспоминал: «За границей он работал мало, написал несколько стихотворений, вошедших потом в «Москву кабацкую»… Вскоре после приезда читал «Москву кабацкую». Далее рассказав о том, что один из слушателей стал обвинять поэта в упадочности, мемуарист сообщает, что Есенин «стал ожесточенно говорить, что он внутренне пережил «Москву кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. К этому его обязывает звание поэта» («Воспоминания», с. 252).

85

«Заметался пожар голубой…» — Этим стихотворением открывался цикл «Любовь хулигана», в который входило также шесть последующих стихотворений. Цикл обращен к актрисе московского Камерного театра А. Л. Миклашевской, с которой поэт познакомился вскоре после своего возвращения из зарубежной поездки в августе 1923 года.

86

«Мы теперь уходим понемногу…» — Стихотворение связано со смертью близкого друга Есенина, поэта Александра Васильевича Ширяевца, внезапно скончавшегося 15 мая 1924 года.

87

Пушкину — Стихотворение написано в связи с празднованием 125-летия со дня рождения Пушкина. Отвечая на анкету, проводившуюся журналом «Книга о книгах» в связи с этим юбилеем, Есенин писал: «Пушкин — самый любимый мною поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше, как гения страны, в которой я живу» (Собр. соч., т. 4, с. 228). В октябре 1925 года в автобиографии он отметил: «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину» (Собр. соч., т. 5, с. 22). В день юбилея Есенин читал стихотворение на митинге у памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве.

88

Возвращение на родину — В августе 1923 года Есенин вернулся на родину после более чем годовой поездки по Европе и США. В автобиографиях он отмечал: «Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Россию», «После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому» (Собр. соч., т. 5, с. 14, 18). Данное стихотворение было написано под впечатлением первой по возвращении кратковременной поездки в родные места в мае 1924 года.

89

Отцовский дом // Не мог я распознать… — Вспоминая о приезде Есенина в мае 1924 года в Константиново, сестра поэта, А. А. Есенина, пишет: «Пока закипает самовар, мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца интересует жизнь в Москве, за границей, Сергея — жизнь односельчан. Со времени его последнего приезда сильно изменился облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье. Никогда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и пожара… (Имеется в виду пожар 3 августа 1922 г., когда сгорел дом родителей поэта. — А. К.) Сергей счастлив, что снова дома, среди родных, и его не смущают ни эта бедность, ни теснота» («Воспоминания», с. 62).

90

Есенина Татьяна Федоровна (1875–1955) — мать поэта.

91

По-байроновски наша собачонка // Меня встречала с лаем у ворот. — Ср. в поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда»:

Быть может, пес повоет мой,

Но, у другого сыт,

В меня ж, прибредшего домой,

Свои клыки вонзит.

(Песнь первая, 13. Перевод Г. Шенгели)

92

Сахаров Александр Михайлович — товарищ Есенина, издательский работник. Вместе с Есениным ездил в Константиново в мае 1924 года.

93

«Этой грусти теперь не рассыпать…» — В автобиографии, относящейся к тому же времени, что и это стихотворение, Есенин писал: «Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америки. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка… это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.» (Собр. соч., т. 5, с. 18).

94

«Издатель славный! В этой книге…» — Адресовано И. И. Ионову (1887–1942), в те годы директору Ленинградского отделения Госиздата, где в 1924 году намечался выпуск сборника стихов Есенина.

95

На Кавказе — Длительное пребывание Есенина на Кавказе (поездка продолжалась с сентября 1924 по февраль 1925 г.) — один из наиболее плодотворных периодов его творчества. Т. Табидзе писал: «Кавказ, как когда-то для Пушкина, и для Есенина оказался новым источником вдохновения. В отдалении поэту пришлось многое передумать, в нем происходила сильная борьба за окончательное поэтическое самоутверждение. Он чувствовал наплыв новых тем…» («Воспоминания», с. 387).

96

И Грибоедов здесь зарыт… — Могила Грибоедова находится на горе Мтацминда над Тбилиси.

97

…Маяковский… // Поет о пробках в Моссельпроме. — Намек на работу Маяковского в эти годы над торговой рекламой (в частности, и для Моссельпрома). Есть немало мемуарных свидетельств, в которых воспроизводятся отрицательные суждения Есенина о Маяковском. Известны их столкновения на литературных диспутах (особенно резкие в 1919–1921 гг.). Многие современники склонны были рассматривать инвективы Есенина о Маяковском как отражение его постоянной литературной позиции. Однако отношение Есенина к Маяковскому в 1924–1925 годах заметно изменилось. Н. Н. Асеев так рассказывает о встрече поэтов: «Мы были в кафе на Тверской, когда пришел туда Есенин. Кажется, это свидание было предварительно у них условлено по телефону. Есенин был горд и заносчив; ему казалось, что его хотят вовлечь в невыгодную сделку… Есенин держал себя настороженно, хотя явно был заинтересован в Маяковском больше, чем во всех своих вместе взятых сообщниках. Разговор шел об участии Есенина в «ЛЕФе»… Разговор происходил незадолго до смерти Есенина» (Н. Н. Асеев. Кому и зачем нужна поэзия? М., 1961, с. 300–301). Уже после смерти Есенина Маяковский в статье «Как

делать стихи?» отмечал: «Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАППу». На смерть Есенина Маяковский написал известное стихотворение «Сергею Есенину».

98

И Клюев, ладожский дьячок… — Этим уничижительным определением Есенин как бы подвел черту под своими сложными, противоречивыми взаимоотношениями с Н. А. Клюевым.

99

Баллада о двадцати шести — Написано и опубликовано в Баку к шестой годовщине со дня расстрела (20 сентября 1918 г.) английскими интервентами двадцати шести бакинских комиссаров — С. Г. Шаумяна, П. А. Джапаридзе, М. Азизбекова, И. Т. Фиолетова и др. Они были расстреляны на 207-й версте за Красноводском, близ станции Ахч-Куйма. Георгий Богданович Якулов (1884–1928) — художник и скульптор, в начале 20-х годов работал над проектом памятника двадцати шести бакинским комиссарам. Художник В. П. Комарденков вспоминал: «Проектировалось соорудить спиралеобразную башню, внутри которой должен был помещаться музей… Во время работы над этим памятником Есенин изучал документы, относящиеся к зверскому расстрелу английскими интервентами бакинских комиссаров, подолгу держал в руках фотографии, а когда приезжали товарищи из Баку, принимал участие в обсуждении проекта… Подружившись с Георгием Богдановичем Якуловым, Сергей Есенин приходил к нему в мастерскую запросто, иногда оставался ночевать. Оно и попятно. В Георгии Богдановиче он встретил верного, доброго, очень талантливого, хорошо знающего искусство и литературу друга» (В. Комарденков. Дни минувшие. М., 1972, с. 79).

100

Памяти Брюсова — Написано в связи со смертью В. Я. Брюсова (9 октября 1924 г.). В статье, посвященной памяти Брюсова, Есенин писал: «Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов. Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха… После смерти Блока это такая утрата, что ее и выразить невозможно. Брюсов был в искусстве новатором… Брюсов первый пошел с Октябрем, первый встал на позиции разрыва с русской интеллигенцией. Сам в себе зачеркнуть страницы старого бытия не всякий может. Брюсов это сделал» (Собр. соч., т. 4, с. 229–230).

101

Поэтам Грузии — Г. Н. Леонидзе вспоминал: «Он очень мало знал Грузию до приезда к нам, но тем ненасытнее оказались его любознательность, жажда познания распахнувшего ему дружеские объятия края и народа. Им были задуманы переводы из грузинской поэзии, он договорился о редактировании приложения к газете «Заря Востока», мечтал о создании цикла стихов о Грузии… Однако, кроме больших и малых планов, были большие и малые факты, события, происшествия, эпизоды, связанные с жизнью Сергея Есенина в Тбилиси, в своей совокупности и создавшие у него то настроение, которое продиктовало ему знаменитое послание «Поэтам Грузии» («Литературная газета», М., 1965, 2 октября).

102

…голубые роги… — от названия литературного объединения грузинских поэтов «Голубые роги» (1916–1930 гг.), членами которого были П. Яшвили, Т. Табидзе, Г, Леонидзе и др.

103

Письмо деду — Стихотворение обращено к деду Есенина Ф. А. Титову (умер в 1927 г.). Е. А. Есенина рассказывает: «Вся округа знала Федора Андреевича Титова (нашего дедушку по матери). Умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка умел нравиться людям. Он был недурен собой, имел хороший рост, серые задумчивые глаза, русый волос и сохранил до глубокой старости опрятность одежды… По отношению к детям у дедушки всегда была большая доброта и нежность. Уложить спать, рассказать сказку, спеть песню ребенку для него было необходимостью. Сергей часто вспоминал свои разговоры с ним… Когда мать ушла от Есениных, дедушка взял Сергея к себе, но послал в город добывать хлеб себе и сыну, за которого он приказал ей высылать три рубля в месяц… Пять лет Сергей жил у дедушки Федора» («Воспоминания», с. 25–27).

104

Метель — Это и следующее стихотворение «Весна» в рукописи объединены общим заглавием «Над «Капиталом», а в первой публикации — «Листки».

105

Цикл «Персидские мотивы» был создан Есениным под впечатлением трех довольно длительных поездок (с сентября 1924 по август г.) по Грузии и Азербайджану, встреч, которые у него были в Тбилиси, Батуми, Баку. В Персии Есенин никогда не был, хотя не раз туда собирался. На время поездок Есенина на Кавказ приходится и его дружба с видным советским журналистом и издательским работником Петром Ивановичем Чагиным (1898–1967), в те годы редактором газеты «Бакинский рабочий», где было впервые напечатано большинство стихотворений этого цикла. Ему же посвятил Есенин и сборник стихотворений «Персидские мотивы». Рассказывая о пребывании Есенина в Баку летом 1925 года, П. И. Чагин пишет: «Поехали на дачу в Мардакянах под Баку… Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал новые стихи из цикла «Персидские мотивы». Киров, человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не хватит — довообразит. Он же поэт, да какой!» («Литературная Россия», 1965, № 40, 1 октября).

В «Персидских мотивах» отразились не только личные впечатления Есенина, но и его знакомство с творчеством виднейших персидских поэтов Саади, Омара Хайяма, Фирдоуси, неоднократно упоминаемых в тексте стихотворений этого цикла. Одно из стихотворений («Голубая да веселая страна…») озаглавлено в рукописи «Подражание Омар Хаяму». Журналист Н. К. Вержбицкий рассказывает: «Подвернулся мне томик — «Персидские лирики X–XV веков» в переводе академика Корша. Я взял его домой почитать. А потом он оказался в руках Есенина, который уже не хотел расставаться с ним. Что-то глубоко очаровало поэта в этих стихах. Он ходил по комнате и декламировал Омара Хайяма» (Н. Вержбицкий. Встречи с Есениным. Тбилиси, 1961, с. 50–51).

106

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» — Есенин использует имя Шаганэ Нерсесовны Тальян, молодой женщины, с которой он познакомился в Батуме зимой 1924/25 года.

107

Шираз — город на юге Ирана. В письме к Г. А. Бениславской от 8 апреля 1925 года Есенин писал: «Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поет, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза» (Собр. соч., т. 5, с. 162). Эту поговорку поэт использовал в стихотворении «Руки милой — пара лебедей…».

108

Гелия. — Маленькая дочь П. И. Чагина Роза, с которой Есенин любил играть, когда жил на даче у него, называла себя «Гелия Николаевна».

109

Капитан земли — Стихотворение было опубликовано посмертно, с сообщением, что оно «написано в январе 1925 года в Батуме накануне годовщины смерти Ленина».

110

Над омраченным Петроградом… — Строка из первой части поэмы Пушкина «Медный всадник».

111

Собаке Качалова — Близко знавший Есенина народный артист СССР В. И. Качалов вспоминал: «Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидал Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться», — бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой» («Воспоминания», с.

417–418).

112

Мая — «Первое мая 1925 года, — вспоминает бакинский журналист В. Швейцер, — Есенин встречал на рабочем празднике в Балаханах. Он переходил от группы к группе, оживленный, разговорчивый, поднимая тосты за рабочих, принимая тосты за поэзию. Тонкие морщинки у щек разгладились, на бледные губы легла улыбка. Казалось, Есенин, озябший в своем уединении, грелся среди людского множества у праздничных костров человеческого тепла» («Воспоминания», с. 409).

113

Пускай меня бранят за «Стансы»… — Есенин намекает на статью А. К. Воронского «На разные темы» (альманах «Наши дни», М. — Л., 1925, № 5), в которой было подвергнуто критике стихотворение «Стансы».

114

«Леф» — литературная группировка, возглавлявшаяся В. Маяковским.

115

Письмо к сестре — Стихотворение обращено к сестре поэта — Екатерине Александровне Есениной.

116

О Дельвиге писал наш Александр, // О черепе выласкивал он строки. — Имеется в виду стихотворение Пушкина «Послание Дельвигу» («Прими сей череп, Дельвиг…»).

117

Ах, эти вишни! Ты их не забыла? — По поводу этих строк сестры поэта вспоминают: «Своего яблоневого сада у нас не было. В 1921 году отец купил и посадил несколько молодых яблонек, но во время пожара они все погибли, за исключением одной, которая стояла теперь перед окнами домика. У соседей были прекрасные многолетние сады с раскидистыми яблонями, свешивающими свои ветви в наш огород. У нас же по всему участку росли ползучие вишни, которые доставляли много хлопот нашим родителям, так как им нужна была земля под картошку. Нам, детям, много огорчений приносила вырубка сада и вспахивание его сохой или плугом» (сб. «На родине Есенина». М., 1969, с. 37).

118

Слова Пушкина. (Прим. С. Есенина.)

Блажен, кто не допил до дна… — Вариация строк из «Евгения Онегина»:

Блажен, кто праздник жизни рано

Оставил, не допив до дна

Бокала полного вина…

119

«Прощай, Баку! Тебя я не увижу…» — Стихотворение написано незадолго до отъезда, после почти двухмесячного пребывания в Баку. В эти месяцы были созданы такие значительные стихотворения, как «Песня», «Ну, целуй меня, целуй…», «Голубая да веселая страна…» и др. Вновь в Баку Есенин приехал в конце июля того же, 1925 года.

120

Вынул я кольцо у попугая… — А. А. Есенина вспоминает: «Кольцо, о котором говорится в стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне. Шутя Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера» («Воспоминания», с. 71).

121

Ах, у луны такое // Светит — хоть кинься в воду… — По воспоминаниям журналиста Н. К. Вержбицкого, эти строки связаны с рассказанной им Есенину легендой о китайском поэте VIII века Ли Пу (Ли Бо), который бросился в воду, захотев обнять отражение луны (см.: Н. Вержбицкий. Встречи с Есениным. Тбилиси, 1961, с. 32–33).

122

«Гори, звезда моя, не падай…», «Жизнь — обман с чарующей тоскою…» — Вспоминая об обстоятельствах создания этих двух стихотворений, написанных близ Баку, в Мардакянах, С. А. Толстая-Есенина писала: «В то время Есенин плохо себя чувствовал. Опять появились предположения, что у него туберкулез. Он кашлял, худел, был грустен, задумчив. Настроениями и разговорами этих дней навеяны оба эти стихотворения» (Комментарий С. А. Толстой-Есениной хранится в Государственном литературном музее — Москва).

123

Пусть она услышит, пусть она поплачет. // Ей чужая юность ничего не значит. — Ср. у Лермонтова в «Завещании»:

Ты расскажи всю правду ей,

Пустого сердца не жалей,

Пускай она поплачет…

Ей ничего не значит!

124

«Я красивых таких не видел…» — Шура — Александра Александровна Есенина, младшая сестра поэта (род. в 1911 г.). Осенью 1924 года она переехала из Константинова в Москву, чтобы продолжить учебу в школе. Об обстоятельствах, связанных с возникновением этого и последующих посвященных ей же стихотворений, А. А. Есенина вспоминает: «В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне (С. А. Толстой-Есениной. — А. К.) и мне покататься на извозчике. День был теплый, тихий. Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза. Столько кошек мне как-то не приходилось встречать раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то размышления, но потом вдруг громко рассмеялся. Мое открытие ему показалось забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути… Это занятие нас всех развеселило, а Сергей увлекся им, пожалуй, больше, чем я. Завидев кошку, он вскакивал с сиденья и, указывая рукой на нее, восклицал: «Вон, вон еще одна!»

…Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры — все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они ведут себя просто и свободно. И, уцепившись за них, я шагаю к столику у колонны. Сидя за столом и видя мое смущение, Сергей все время улыбался и, чтобы окончательно смутить меня, он проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят…»

…А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их но счесть никогда…» и «Я красивых таких не видел…» («Воспоминания», с. 72–73).

125

«Эх вы, сани! А кони, кони!..» — «Осенью 1925 года, — вспоминала С. А. Толстая-Есенина, — вскоре после возвращения в Москву из

поездки на Кавказ, где Есенин работал главным образом над продолжением цикла «Персидских мотивов», он несколько раз говорил о том, что хочет написать цикл стихов о русской зиме. Первым стихотворением этого цикла явилось «Эх вы, сани! А кони, кони!..». За ним последовали другие на ту же тему. В течение трех месяцев, почти до самой смерти, Есенин не оставлял этой темы и написал двенадцать стихотворений, посвященных русской зимней природе. Необычайное многообразие, яркость, величавость, сказочная, фантастическая красота нашей зимы, которую с детства любит всякий русский человек, увлекали Есенина, глубоко любившего свою родную страну, пробуждали в нем высокие поэтические настроения, рождали новые прекрасные образы и сравнения» («Смена», М., 1946, № 3–4, февраль).

126

«Ах, метель такая, просто черт возьми…» — Публикуя это и следующее за ним стихотворения, С. А. Толстая-Есенина писала: «В начале октября 1925 года, в последний год своей жизни, Сергей Есенин увлекся созданием коротких стихотворений. 3 октября были написаны «Голубая кофта. Синие глаза…» и «Слышишь, мчатся сани…». В ночь с 4 на 5 октября он продиктовал мне подряд семь шести- и восьмистрочных стихотворений. На другой день, по этой моей записи, Есенин сделал небольшие поправки» («Смена», М., 1946, № 3–4, февраль).

127

Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве — Одно из последних стихотворений поэта. Начав свой литературный путь публикациями в детских журналах, Есенин после сборника «Зорянка», составленного им в 1916 году, стихотворений для детей не писал и вновь вернулся к этому жанру незадолго до смерти.

128

«До свиданья, друг мой, до свиданья…» — Последнее стихотворение Есенина. Написано накануне смерти, в ночь на 27 декабря. Днем Есенин передал его своему ленинградскому товарищу, поэту В. И. Эрлиху, который вспоминал: «Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи. Говорит, складывая листок вчетверо и кладя его в карман моего пиджака: — Тебе.

Устинова хочет прочесть.

— Нет, ты подожди! Останется один, прочитает…

Простились. С Невского я вернулся вторично: забыл портфель… Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично» («Воспоминания», с. 466).

Стихотворение осталось в кармане у В. И. Эрлиха и было прочитано им только на следующий день, когда уже стало известно о смерти Есенина.

129

Пугачев — В рукописи Есенин так отметил время непосредственной работы над «Пугачевым»: «1921, старый стиль: февраль — август; новый: март — август». В этот период Есенин совершил большую поездку в Среднюю Азию, во время которой ему привелось проезжать и по пугачевским местам.

Интересное свидетельство об отношении Есенина к своему произведению, об особенностях замысла и, в частности, об отношении поэта к «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке» Пушкина приводит в своих воспоминаниях И. Н. Розанов. По его словам, Есенин говорил: «У меня… совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь… В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина — не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии. Я несколько лет… изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был неправ. Я не говорю уже о том, что у него была своя, дворянская точка зрения. И в повести и в истории. Например, у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или тех, кто погиб от рук пугачевцев. Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева» («Воспоминания», с. 296–297).

Свою поэму Есенин писал с расчетом на возможность ее постановки в театре. Об этом, в частности, говорит большое количество ремарок в рукописи. По свидетельству И. И. Старцева, летом 1921 года состоялась читка «Пугачева» в театре Вс. Мейерхольда. Постановка осуществлена не была. Есенин, выступая после одного из чтений «Пугачева», говорил, что «расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами: некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ. Точно так же он расходится со своими друзьями-имажинистами во взглядах на театральное искусство: в то время как имажинисты главную роль в театре отводят действию, в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль. Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному. Ему как поэту, работающему преимущественно над словом, неприятна подчиненная роль слова в театре. Вот почему его новая пьеса, в том виде, как она есть, является произведением лирическим. И если режиссеры считают «Пугачева» не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен: пусть театр, если он желает ставить «Пугачева», перестроится так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть» («Воспоминания», с. 276–277).

Есенин любил выступать с чтением отрывков из «Пугачева», особенно часто он читал монолог Хлопуши (см. рассказ об этом М. Горького — «Воспоминания», с. 336–337).

130

Ленин — Кончина В. И. Ленина потрясла поэта. Ю. Н. Либединский вспоминал: «Умер Ленин, и тяжело упала эта потеря на сыновнюю душу Сергея Есенина. Получив пропуск из «Правды», он несколько часов простоял в Колонном зале, не сводя глаз с дорогого лица. Вместе с народом, бесконечной вереницей идущим мимо гроба, переживал он горе прощания. В эти дни, наверное, и зародились скорбные и полные животворной силы ямбы его «Ленина»… Изображая Ленина, Есенин сознательно отказывается от всякого стремления к монументальности. Чтобы усугубить свою иронию по поводу банальных и ходульных изображений героя, он к слову «в масках» («Мы любим тех, кто в черных масках») подбирает рифму «на салазках». «Застенчивый, простой и милый» — таким видит он Ленина, и тем сильнее действие его неожиданных, проникнутых восхищением, слов: Я не пойму, какою силой

Сумел потрясть он шар земной?

Но он потряс…

В Ленине Сергей Есенин подчеркнул скромность, доброту, доступность, любовь к детям. Но, показав эти черты, поэт не принизил образа великого учителя… Сейчас, оглядываясь в прошлое, поражаешься, с какой точностью поэт передал настроение миллионов людей России в те дни, когда мы осиротели» («Воспоминания», с. 373–375).

По случаю первой годовщины со дня смерти В. И. Ленина Есенин написал стихотворение «Капитан земли». К ленинской теме Есенин обращался также в других произведениях этих лет («Анна Снегина», «Песнь о великом походе» и др.).

Подзаголовок произведения — «Отрывок из поэмы «Гуляй-поле» — связан с замыслом Есенина, возникшим еще зимой 1921–1922 годов. Есть свидетельства, что летом 1924 года Есенин работал над этой поэмой. Поэт И. В. Грузинов писал, что он слышал поэму в авторском чтении. По его словам, «поэма была почти вся сделана, оставалось обработать некоторые детали» (см. сб. «Сергей Александрович Есенин». М.—Л., 1926, с. 133–134). В настоящее время известны только несколько черновых набросков, тематически связанных с этим замыслом (см. Собр. соч., т. 3, с. 362–363).

131

Песнь о великом походе — Рукопись поэмы помечена июлем 1924 года.

132

Ни ногатой вас не взять, // Ни резанами… — Ногата и резань — старые русские денежные единицы.

133

Поэма о 36 — Черновик поэмы помечен 1–6 августа 1924 года. Поэма была написана, в частности, под впечатлением рассказов политкаторжанина И. И. Ионова, работавшего в то время в Ленинградском отделении Госиздата. В. И. Эрлих отмечал: «В Госиздате сидит у Ионова до трех, до пяти» («Воспоминания», с. 453). О впечатлении, которое на поэта произвели рассказы И. И. Ионова,

вспоминает Г. А. Бениславская: «Его горение заставило Сергея Александровича над чем-то в нашей общественной жизни задуматься: он толкнул его на «Поэму о 36» (цит. по кн.: В. Белоусов. Сергей Есенин. Литературная хроника, ч. 2. М., 1970, с. 299).

134

Может случиться с тобой… — А. А. Есенина отмечает, что в этих строках отразилось впечатление от песни «Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой…», которую часто пел отец поэта (см. «Воспоминания», с. 59).

135

Анна Снегина — В поэме отразились впечатления от поездок в родное село Константиново в 1917–1918 годах. Старшая сестра поэта, Е. А. Есенина, вспоминает:

«1918 год. В селе у нас творилось бог знает что.

— Долой буржуев! Долой помещиков! — неслось со всех сторон.

Каждую неделю мужики собираются на сход. Руководит всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий коломенского завода. Во время революции он пользовался в нашем селе большим авторитетом. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь. Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете».

В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было такое же, как и у всех, — приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками» («Воспоминания», с. 43–44).

В поэму введены названия находящихся в тех же краях села Радово и деревни Криуши. В пейзаже, в лирических сценах поэмы тоже отразились константиновские впечатления. Прообразом героини поэмы в определенной степени послужила владелица имения в Константинове Лидия Ивановна Кашина, хотя обстоятельства ее собственной жизни мало чем напоминают судьбу Анны Онегиной в поэме. Младшая сестра поэта, А. А. Есенина, пишет: «За церковью, у склона горы, на которой было старое кладбище, стоял высокий бревенчатый забор, вдоль которого росли ветлы. Этот забор, тянувшийся почти до самой реки, огораживавший чуть ли не одну треть всего константиновского подгорья, отделял участок, принадлежавший помещице Л. И. Кашиной, имение которой вплотную подходило к церкви и также тянулось по линии села.

Л. И. Кашина была молодая, интересная и образованная женщина, владеющая несколькими иностранными языками. Она явилась прототипом Анны Снегиной, ей же было посвящено Сергеем стихотворение «Зеленая прическа…», а слова в поэме «Анна Снегина»: Приехали.

Дом с мезонином

Немного присел на фасад.

Волнующе пахнет жасмином

Плетневый его палисад, —

относятся к имению Кашиной» («Воспоминания», с. 51–52).

Есенин любил свою «Анну Снегину» и высоко ее оценивал. В период работы над поэмой он писал другу: «Работаю и скоро пришлю Вам поэму, по-моему, лучше всего, что я написал» (Собр. соч., т. 5, с. 143). Но современная Есенину критика поэму по-настоящему не оценила. Даже авторское чтение не помогло понять всей значительности произведения. По поводу одного из таких выступлений Есенина В. Ф. Наседкин вспоминал: «…случилось так, что прекрасная лирическая поэма не имела большого успеха. Спрошенные Есениным рядом с ним сидящие за столом о зачитанной вещи отозвались с холодком» (В. Наседкин. Последний год Есенина. М., 1927, с. И). Только Д. Фурманов со свойственной ему прозорливостью отмечал: «Он читал нам последнюю свою, предсмертную поэму. Мы жадно глотали ароматичную, свежую крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри» (Д. Фурманов. Собр. соч., т. 4. М., 1961, с. 374–375).

Поэма посвящена литературному критику Александру Константиновичу Воронскому (1884–1943). Есенин считался с его мнением и внимательно следил за его статьями о своем творчестве. В январе 1924 года Есенин беспокоился о скорейшей доставке критику корректурного оттиска сборника «Москва кабацкая», с тем чтобы Воронский мог высказаться об этих стихах в статье, готовившейся для журнала «Красная новь». Тогда же Есенин предоставил Воронскому возможность опубликовать в этой статье («Красная новь», М.—Л., 1924, № 1) и свое известное «Предисловие» к проектировавшемуся собранию стихов. В 1925 году между ними возникло расхождение, когда Есенин не согласился с оценкой, которую дал Воронский таким стихотворениям, как «Стансы».

136 «Липа» — подложный документ. (Прим. С. Есенина.)

137 Черный человек — Замысел поэмы относится ко времени зарубежной поездки 1922–1923 годов. Есть основания считать, что в это время Есениным был создан первый вариант поэмы. Но текст этой редакции до настоящего времени не разыскан. Наиболее подробно вопрос о датировке поэмы освещен в книгах: П. Ф. Юшин. Сергей Есенин. М., 1969, с. 280–286; Е. Наумов. Сергей Есенин. Л., 1969, с. 237. Существующий текст поэмы был подготовлен в ноябре года. С. А. Толстая-Есенина вспоминает: «В ноябре 1925 года редакция журнала «Новый мир» обратилась к Есенину с просьбой дать новую большую вещь. Новых произведений не было, и Есенин решил напечатать «Черного человека». Он работал над поэмой в течение двух вечеров 12 и 13 ноября. Рукопись испещрена многочисленными поправками… Лица, слышавшие поэму в его чтении, находили, что записанный текст короче и менее трагичен, чем тот, который Есенин читал раньше» (С. Масчан. Из архива С. Есенина. — «Новый мир», 1959, № 12).